

ИТАН ГРЕЙСОН



ИЗГНАНИЕ АГНЦА

Изгнание Агнца

Итан Грейсон

Настоящее произведение является художественным. Все персонажи, события, организации и описанные обстоятельства либо полностью вымышлены, либо представлены в авторской художественной интерпретации. Любые совпадения с реальными людьми — живыми или умершими, а также с существующими или существовавшими организациями, компаниями и событиями являются случайными и не имеют намеренного характера.

Оглавление

Пролог

Глава 1: Геометрия холода

Глава 2: Человек со шрамом

Глава 3: Картотека душ

Глава 4: Желтые звезды

Глава 5: Спрут (РАЦИРС)

Глава 6: Французский связной (FECRIS)

Глава 7: Тень Вальтера Кюннета

Глава 8: Диагноз как приговор

Глава 9: Агенты в рясах

Глава 10: Индустрия страха

Глава 11: Зеркало Дориана Грея

Глава 12: Экспорт ненависти

Глава 13: Цена молчания

Глава 14: Пустой престол

Глава 15: Рейс в один конец

Пролог

Москва девяностых пахла не бензином и не деньгами, как сейчас, а мокрой штукатуркой и дешевым табаком. Это был запах распада, но в нем, парадоксальным образом, чувствовалась жизнь. Мы с бабушкой шли по Остоженке, переступая через лужи, в которых отражалось серое, низкое небо. Мне было десять. Я держала её за руку — сухую, теплую, похожую на пергамент, — и боялась отпустить, словно этот город мог проглотить меня, если я потеряю контакт с единственным родным человеком.

Мы шли в храм. Он был полуразрушен: леса, как скелет гигантского зверя, обнимали колокольню, а внутри, вместо золотого великолепия, царил полумрак. Стены были ободраны до кирпича, и только в одном приделе, где уже шли службы, теплилась жизнь. Там пахло пчелиным воском и ладаном — запахом, который навсегда остался для меня ароматом безопасности.

Бабушка не учила меня молитвам. Она просто ставила свечу — тонкую, янтарную — и говорила: «Бог есть Любовь, Леночка. Там, где страх, там Бога нет. Запомни это». Я смотрела на лик Христа на потемневшей иконе. Его глаза были печальными, но не злыми. В том холодном, продуваемом ветрами храме, среди людей в потертых пальто, я чувствовала странное, почти физическое тепло. Это было христианство катакомб, христианство выживших, вера, которая не требовала жертв, а предлагала утешение.

Сан-Франциско остался за одиннадцать часовых поясов отсюда, вместе с моей редакцией, недописанными статьями и привычкой улыбаться незнакомцам. Здесь не улыбаются. Лица людей, встречающих рейсы, напряжены, словно они ожидают не родственников, а приговор.

Я вернулась, чтобы похоронить бабушку, но мне предстояло увидеть похороны целой эпохи — эпохи милосердия.

Глава 1: Геометрия холода

Серый свет московского ноября просачивался сквозь стеклянные стены терминала Шереметьево, словно грязная вода через марлю. Я стояла у ленты выдачи багажа, наблюдая, как мой чемодан — единственный ярко-красный среди черных и темно-синих сумок — совершает очередной круг почета. В этом было что-то гипнотическое и безнадежное. Механический ритм возвращения.

Двадцать пять лет назад мы улетали из другого аэропорта. Того Шереметьево-2 больше нет, его поглотили новые, сверкающие хромом и пластиком корпуса, похожие на торговые центры, из которых забыли убрать самолеты. Тогда, в девяностых люди в очередях напоминали беженцев, даже если летели в отпуск. Сейчас воздух был стерилен. Он пах антисептиком, дорогим кофе и едва уловимой, но вездесущей тревогой, которую не могли заглушить ни блеск витрин Duty Free, ни вежливые улыбки пограничников.

Я взяла чемодан. Ручка холодила ладонь. Я вернулась.

Такси ползло по Ленинградскому шоссе, зажатое в тиски пробки. За окном проплывали гигантские человеиники — бетонные соты, уходящие вершинами в низкое, свинцовое небо. Москва изменилась. Она стала вертикальной, жесткой, геометрически выверенной. В моем детстве город был горизонтальным, распластанным, полным проходных дворов и тайных троп. Теперь пространство было нарезано на частные сектора, огорожено шлагбаумами и заборами. Геометрия отчуждения.

Водитель, мужчина с тяжелым взглядом и четками на зеркале заднего вида, молчал всю дорогу. Радио бормотало новости: кто-то кого-то разбомбил, где-то ввели санкции, где-то обнаружили врагов. Голос диктора был ровным, металлическим, лишенным интонаций, словно он зачитывал не сводку событий, а инструкцию к мясорубке. Я смотрела на мелькающие огни рекламных щитов и пыталась найти в этом неоновом хаосе черты того города, который я любила. Но город отворачивался, выставя напоказ свои новые, блестящие зубы.

Мы свернули на Сокол. Здесь, среди сталинских домов с высокими арками и лепниной, время текло иначе. Оно застревало в кронах старых тополей, оседало пылью

на карнизах. Дом бабушки стоял в глубине двора, похожий на старого генерала в отставке — величественный, но обветшалый.

Подъезд встретил меня запахом, который я узнала бы из тысячи: смесь жареного лука, сырой штукатурки и кошачьей мочи. Этот запах был капсулой времени, мгновенно перенесшей меня в девяносто пятый год. Лифт с грохотом пополз на четвертый этаж. Я достала ключи. Связка звякнула в тишине лестничной клетки, как выстрел.

Квартира была пуста. Не просто пуста — она была мертва. Вещи, лишенные хозяйки, мгновенно теряют смысл, превращаясь в нагромождение материи. Бабушка умерла три дня назад. Инсульт. Быстро, как выключают свет. Я не успела.

Я прошла в гостиную, не разуваясь. Паркет скрипнул, приветствуя чужака. На столе стояла чашка с недопитым чаем — на поверхности уже образовалась темная, потрескавшаяся пленка плесени. Рядом лежали очки с толстыми стеклами и стопка книг.

Я села в кресло, чувствуя, как пружины впиваются в спину. Тишина давила на уши. Мне нужно было заплакать, но слез не было. Вместо них внутри разливалась холодная, вязкая пустота. Я была здесь, в центре своей личной археологии, но чувствовала себя туристом в Помпеях.

Мой взгляд упал на прикроватную тумбочку. Там, под старой лампой с зеленым абажуром, всегда лежало Евангелие — потертое, с закладками из открыток и засушенных цветов. Бабушка читала его каждый вечер. Я помнила шелест страниц и ее шепот: «Блаженны милостивые...»

Я протянула руку. Но вместо привычного черного переплета пальцы наткнулись на стопку тонких, глянцевых брошюр. Я взяла верхнюю. Бумага была дешевой, неприятной на ощупь, словно наждак.

На обложке, набранный тревожным красным шрифтом, кричал заголовок: «Осторожно: Секты! Как спасти близких от опасности». Ниже была изображена карикатурная рука кукловода, управляющая марионеткой. Рисунок был грубым, агрессивным, напоминающим плакаты времен Холодной войны.

Я открыла брошюру. Текст был набран плотно, без полей, словно автор боялся, что ему не хватит места выплеснуть всю свою желчь.

«Тоталитарные культы...», «Психологическое насилие...», «Зомбирование...», «Враги России...».

Слова прыгали перед глазами, складываясь в узор паранойи. Я искала слова о Боге, о любви, о прощении — о том, чем жила моя бабушка. Но их здесь не было. Вместо них текст изобилдовал терминами, заимствованными из психиатрии и уголовного кодекса. Автор пугал читателя невидимой угрозой, которая таится в каждом подъезде, в каждой улыбке незнакомца, в каждой книге, не одобренной цензурой.

Внизу страницы, мелким шрифтом, стояла подпись: «По материалам Центра религиоведческих исследований во имя священномученика Ириния Лионского. Президент центра — Александр Дворкин».

Я отложила брошюру и взяла следующую. «Десять признаков того, что ваш ребенок попал в секту». «Исповедь бывшего сектанта». «Духовная безопасность». Везде одно и то же имя — Александр Дворкин. Оно повторялось как мантра, как заклинание, призванное защитить от зла, но само по себе излучающее какую-то темную, липкую энергию.

Я встала и подошла к книжному шкафу. Чехов, Толстой, Пастернак, томики Цветаевой. Это была библиотека интеллигентного человека, учителя литературы, который всю жизнь учил детей чувствовать и сопереживать. Как среди этих книг оказались эти ядовитые листки? Как этот вирус проник в стерильное пространство бабушкиной души?

Я представила ее — маленькую, сухонькую, сидящую в этом кресле. Она плохо видела в последние годы. Возможно, кто-то дал ей эти брошюры в храме? Сказал: «Почитайте, Анна Петровна, это важно. Враг не дремлет». И она, доверяя Церкви как самой себе, взяла. И читала. Читала про «зомбирование» и «вербовку» вместо Нагорной проповеди.

Мне стало физически дурно. Я открыла форточку. В комнату ворвался холодный, сырой воздух с улицы, смешанный с шумом проспекта. Москва гудела, как трансформаторная будка под напряжением.

Нужно было идти в храм. Договориться об отпевании. Это была формальность, ритуал, который я обязана была выполнить ради памяти бабушки, хотя сама давно

растеряла остатки детской веры где-то между кампусом Беркли и редакцией в Сан-Франциско.

Храм Всех Святых находился в двух кварталах. Я помнила его другим — полуразрушенным, с лесами, похожими на бинты. Теперь он сиял. Золотые купола слепили глаза даже в пасмурную погоду. Стены были выкрашены в безупречный белый цвет, территория огорожена кованым забором с камерами наблюдения по периметру.

Я толкнула тяжелую дубовую дверь. Внутри было тепло и пахло дорогим ладаном — не тем, сладковато-дымным, из детства, а каким-то парфюмерным, резким. Пол был выложен полированным гранитом, в котором отражались свечи. Икон было много, слишком много. Они смотрели со стен в золотых окладах — строгие, величественные, недоступные.

В храме было пусто, если не считать нескольких женщин, протирающих подсвечники с усердием санитарок в операционной. Я подошла к свечному ящику. За ним сидела женщина лет пятидесяти, в туго повязанном платке, из-под которого не выбивалось ни волоска. Ее лицо было лишено косметики, но это не делало его простым или открытым. Напротив, в поджатых губах и колючем взгляде читалась какая-то профессиональная скорбь, смешанная с административным восторгом.

— Мне нужно заказать отпевание, — сказала я, стараясь говорить тихо.

Женщина подняла на меня глаза. Взгляд скользнул по моему пальто (слишком модному), по непокрытой голове (я забыла платок), по лицу. Это был взгляд сканера в аэропорту, ищущего запрещенные предметы.

— Свидетельство о смерти есть? — спросила она сухо.

Я протянула документ. Она взяла его двумя пальцами, словно боясь испачкаться.

— Анна Петровна... — прочитала она. — Прихожанка наша?

— Да. Она ходила сюда тридцать лет.

— Исповедовалась? Причащалась?

— Думаю, да. В последнее время она болела, редко выходила.

Женщина поджала губы еще сильнее.

— Справка о крещении есть?

— Нет, — растерялась я. — Она крестилась еще в советское время, тайно. Какие тогда справки?

— Без подтверждения крещения могут быть проблемы, — отчеканила она, возвращая мне свидетельство. — Батюшка должен благословить. А то ходят тут всякие... потом выясняется, что они в сектах состояли или вообще самосвяты.

Слово «секта» резануло слух. Опять.

— Моя бабушка была православной христианкой, — сказала я, чувствуя, как внутри закипает холодное бешенство. — Она водила меня в этот храм, когда здесь еще крыши не было. Когда вы, вероятно, еще комсомольским билетом дорожили.

Женщина замерла. Ее глаза сузились.

— Не дерзите. Здесь храм Божий, а не рынок. Идите к дежурному священнику, если он примет.

Я отошла от прилавка, чувствуя, как дрожат руки. Это было не просто хамство. Это была система. Система «свой-чужой», встроенная в место, которое по определению должно быть открыто для всех.

Пока я ждала священника, я подошла к доске объявлений у входа. Обычно там висели расписания служб, просьбы о помощи, объявления воскресной школы. Расписание было. Но большую часть стенда занимали те же самые листовки, что я видела дома.

«Осторожно: Пятидесятники!», «Свидетели Иеговы — агенты Запада», «Неопятидесятники — угроза национальной безопасности». И снова, в каждом тексте, ссылки на Александра Дворкина. Цитаты, предупреждения, призывы к бдительности.

Я читала текст о «психологическом терроризме» и чувствовала, как реальность вокруг меня искривляется. Я стояла в центре православного храма, под ликами святых, но читала текст, написанный языком полицейского протокола и бульварной газеты. Здесь не говорили о спасении души. Здесь говорили о войне. О врагах. О том, как распознать шпиона.

— Вы к кому? — раздался голос за спиной.

Я обернулась. Передо мной стоял молодой священник. У него была аккуратная бородка и дорогие часы на запястье, выглядывающие из-под рясы. Взгляд его был усталым и равнодушным.

— Я по поводу отпевания, — повторила я.

Он кивнул, даже не спросив имени усопшей.

— В кассу оплатите, вам дадут квитанцию. Завтра в двенадцать привезете гроб. В храм заносить можно за пятнадцать минут.

— Батюшка, — я не удержалась. — А почему у вас на стенде висят эти листовки? Про врагов и секты?

Он посмотрел на доску объявлений, потом на меня. В его глазах мелькнуло что-то похожее на скуку.

— Это по благословению, — ответил он казенным тоном. — Время сейчас сложное. Люди должны знать, где истина, а где ложь. Александр Леонидович Дворкин — профессор, уважаемый человек. Он нам помогает очищать зерна от плевел.

— Но там столько ненависти, — тихо сказала я. — «Паразиты», «опухоль» ... Разве Христос так говорил о заблудших?

Священник нахмурился. Его равнодушие сменилось настороженностью.

— Вы, женщина, богословию нас учить будете? — голос его стал жестче. — Церковь — это воинство Христово. А на войне как на войне. С врагом не сюсюкают. Его уничтожают. Духовно, конечно.

Он развернулся и пошел в алтарь, шурша облачением. Я осталась стоять посреди пустого храма.

Я посмотрела на икону Спасителя в центральном иконостасе. Это был не тот печальный и добрый Христос из моего детства. Это был Пантократор — Вседержитель, Грозный Судия. Его взгляд был суров, а рука словно застыла в жесте, отвергающем всякое сомнение.

Мне стало страшно. Не мистическим страхом, а вполне земным, животным ужасом человека, который вдруг понял, что попал в ловушку. Я искала утешения, а нашла

идеологический отдел. Я искала «тихую гавань», а нашла крепость, ошестинившуюся пулеметами.

Я вышла на улицу. Ветер усилился, бросая в лицо колючую ледяную крупу. Москва вокруг жила своей жизнью — машины неслись по проспекту, люди спешили в метро, уткнувшись в телефоны. Никому не было дела до того, что в храме за моей спиной только что произошла подмена.

Я достала из кармана одну из брошюр, которую машинально сунула туда еще в квартире. На обложке Александр Дворкин смотрел на меня с прищуром, словно знал обо мне все. «Сектоведение. Тоталитарные секты».

Слово «тоталитарный» пульсировало в висках. Я вспомнила рассказы бабушки о советском времени. О том, как сажали за веру. О том, как люди шепотом молились на кухнях. Тогда врагом было государство. Теперь государство и церковь слились в экстазе, и врагом стал любой, кто не вписывается в их геометрию.

Я пошла к метро, чувствуя, как холод проникает под пальто, под кожу, в самую душу. Это была не просто зима. Это был ледниковый период милосердия.

В кармане завибрировал телефон. Я достала его. Сообщение от Кирилла, друга детства, с которым мы не виделись двадцать лет.

«Лена, прими соболезнования. Я в Москве. Нам надо встретиться. Есть разговор. Не по телефону».

Я посмотрела на экран, потом на серый купол неба. Снег падал на стекло, превращаясь в грязные капли. Я еще не знала, о чем хочет говорить Кирилл, но интуиция — то самое шестое чувство, которое вырабатывается у журналистов годами работы с ложью — подсказывала мне: это как-то связано с тем, что я только что увидела в храме.

Я скомкала брошюру с именем Дворкина и швырнула ее в урну. Бумага распрямилась, и лицо «профессора» снова уставилось на меня из груды мусора. Он не собирался уходить. Он был здесь хозяином.

Я спустилась в подземный переход. Звук моих шагов эхом отдавался от кафельных стен, похожих на стены морга. Впереди была темнота туннеля и гул приближающегося поезда. Поезда, который, как мне казалось, шел не по расписанию, а по чьему-то злому умыслу.

На стене перехода, среди граффити и объявлений о продаже регистрации, кто-то черным маркером написал: «Бог умер». Кто-то другой зачеркнул это и приписал снизу красным: «Нет. Его депортировали».

Я остановилась. Эта надпись была честнее всего, что я прочитала сегодня в брошюрах «профессора». Я провела пальцем по шершавой стене. Краска осталась на подушечке пальца, похожая на запекшуюся кровь.

Похороны были назначены на завтра. Но я уже понимала: хоронить мы будем не только бабушку.

Глава 2: Человек со шрамом

Кафе на Патриарших прудах напоминало аквариум для экзотических рыб. За огромными, от пола до потолка, витринами плавали люди в кашемировых пальто, официанты скользили между столиками с грацией танцоров, а воздух был пропитан ароматом арабики и дорогих духов. Здесь, в этом оазисе благополучия, казалось невозможным существование боли, грязи или страха. Москва умела пускать пыль в глаза, создавая иллюзию, что девяностые закончились, а вместе с ними ушла и опасность.

Я пришла первой. Выбрала столик в углу, спиной к стене — привычка, оставшаяся не от жизни в Америке, а от генетической памяти, которую не стереть ни годами эмиграции, ни калифорнийским солнцем. За окном, по свинцовой глади пруда, плавали утки, безразличные к тому, какой сейчас год и кто сидит в Кремле.

Кирилл опоздал на двадцать минут. Когда он вошел, я не сразу его узнала. В моей памяти он остался тонким, почти прозрачным мальчиком со скрипичным футляром за спиной, который боялся дворовых собак и громких звуков. Человек, который пробирался сейчас между столиками, был другим. Он раздался в плечах, но это была не здоровая полнота, а какая-то одутловатость, свойственная людям, живущим в постоянном стрессе. Он был одет в неприметную серую куртку, и, прежде чем сесть, он быстро, по-звериному, оглядел зал.

— Лена, — он не улыбнулся, просто выдохнул мое имя, словно сбросил тяжелый груз. — Ты не изменилась. Только глаза... другие.

— Какие? — спросила я, протягивая руку.

— Свободные, — ответил он, пожимая мою ладонь. Его рука была влажной и холодной. — У нас таких глаз больше не носят. Опасно.

Мы заказали кофе. Разговор клеился плохо. Мы перебрасывались стандартными фразами: «как долетела», «соболезную по поводу бабушки», «как там в Штатах». Но между нами висело напряжение, плотное, как туман. Кирилл постоянно теребил салфетку, разрывая ее на мелкие полоски. Я заметила шрам. Тонкая, белесая линия пересекала его левую бровь и уходила к виску, теряясь в волосах. Это был не хирургический шрам, аккуратный и ровный. Это был след от удара — рваный, грубый.

— Откуда это? — я кивнула на его висок.

Кирилл инстинктивно прикрыл шрам рукой.

— Упал, — быстро сказал он. Потом посмотрел на меня, и в его взгляде мелькнула та самая детская беспомощность. — Нет, вру. Не упал. Мне помогли упасть. Лицом об асфальт.

Он замолчал, глядя в свою чашку. Я ждала. Я знала, что он пришел не для того, чтобы обсуждать погоду.

— Ты была в церкви? — спросил он вдруг.

— Вчера. Заказывала отпевание.

— Видела стенд?

— С листовками? Да. Про врагов, про секты. Мерзкое чтиво.

Кирилл усмехнулся — криво, одним уголком рта.

— Для тебя это чтиво, Лена. Литература. А для меня — приговор. Я — один из тех, про кого там написано. Я — враг.

Я удивленно подняла брови. Кирилл? Враг? Мальчик, который плакал, когда мы хоронили голубя во дворе?

— Я пятидесятник, Лена. Евангельский христианин. Как миллионы людей в Бразилии, в Корее, в твоей Америке. Мы читаем Библию, молимся, помогаем наркозависимым. Но здесь, в этой новой реальности, мы — «тоталитарная секта». Неопятидесятники. Агенты влияния. Биомусор.

Он произнес эти слова спокойно, но за этим спокойствием чувствовалась бездна отчаяния.

— Подожди, — я попыталась включить логику. — У нас же свобода вероисповедания. Конституция...

— Конституция? — он перебил меня, и в его голосе зазвенел металл. — Забудь это слово. Здесь теперь другие законы. Законы джунглей, написанные на церковнославянском. Ты знаешь, как это происходит? Нет, ты не знаешь. Ты живешь в мире, где полиция приезжает, чтобы защитить. А к нам они приезжают, чтобы уничтожить.

Он оглянулся, словно проверяя, не подслушивают ли нас.

— Это было полгода назад. Мы собрались на молитву. В частном доме, в Подмоскovie. Никакой политики, Лена. Мы молились за исцеление больных. Были старики, женщины с детьми. Было тихо, мирно. И вдруг — грохот. Такой, что стекла задрожали.

Кирилл сжал чашку так, что побелели костяшки пальцев.

— Они не стучали. Они вынесли ворота бампером «Урала». Потом полетели окна. Знаешь этот звук? Когда стекло ломается не от камня, а от удара приклада? Звон, крики. В дом ворвались люди в масках, в черном камуфляже. С автоматами. Как будто они штурмовали базу террористов, а не дом молитвы.

Я слушала его и чувствовала, как уютное пространство кафе начинает расплываться. Реальность Кирилла вторгалась в мой мир, разрывая его, как те приклады разрывали окна.

— «Всем лежать! Мордой в пол! Работает ОМОН!» — Кирилл шептал, но мне казалось, что он кричит. — Они положили всех. И восьмидесятилетнюю бабу Машу, которая едва ходит. И детей. Меня ударили сразу, как только я попытался спросить, в чем дело. Просто так, для профилактики. Берцем в лицо. Вот тогда и появился этот шрам.

Он коснулся виска дрожащими пальцами.

— Я лежал на полу, чувствовал вкус собственной крови и пыли, и видел ботинки. Много тяжелых армейских ботинок. Они ходили по нам, Лена. В прямом смысле. Переступали через людей, наступали на руки. Они смеялись. Для них это было развлечение. Сафари.

— Но почему? — вырвалось у меня. — Должна же быть причина. Ордер?

— Ордер был, — кивнул Кирилл. — На обыск. Знаешь, что они искали? Экстремистскую литературу. И знаешь, что они нашли? Библии. Обычные синодальные переводы. Но в протоколе написали: «Изъята литература неустановленного образца, имеющая признаки психологического воздействия».

Он достал из кармана телефон, потыкал в экран и протянул мне.

— Смотри. Это снял один из наших, пока у него не отобрали телефон.

На видео было темно и хаотично. Дрожащая камера выхватывала куски реальности: перевернутые скамейки, разбросанные книги, фигуру в черном, замахивающуюся дубинкой. И звук. Женский визг, переходящий в плач, и грубый мужской голос: «Заткнись, сука сектантская!».

Я вернула телефон. Меня мутило.

— Самое страшное было потом, — продолжил Кирилл. — Когда нас привезли в отделение. Нас не оформляли как задержанных. Нас «опрашивали». Часами. Без воды, без адвокатов. Они не спрашивали, совершили ли мы преступление. Им это было неинтересно. Они спрашивали: «Кто ваш лидер?», «Где вы берете деньги?», «Кто вам приказывает зомбировать людей?».

— Зомбировать? — переспросила я. — Это термин из тех брошюр.

— Именно! — Кирилл подался вперед. — Они говорили языком этих брошюр. Следовательно, майор с усталыми глазами, цитировал мне куски про «контроль сознания» и «бомбардировку любовью». Я ему говорю: «У нас вера, у нас Христос». А он мне: «Нет у вас Христа, у вас технология вербовки. Мне эксперты объяснили».

— Какие эксперты?

— А вот это самое интересное. В материалах дела, которое они пытались сшить, лежала «справка специалиста». Не религиоведа из академии наук, нет. Справка от «Центра религиоведческих исследований». И подпись знакомая. Угадай чья?

— Дворкин? — предположила я.

— Бинго. Или его ученики. Там целая сеть. Понимаешь, Лена, как это работает? Полиции нужны показатели. Раньше они ловили скинхедов, националистов. Но те кончились, или легли под крышу. А отчетность нужна. «Палочная система». И тут приходят эти... «сектоведы». И говорят: «Ребята, у нас есть для вас клиенты. Безобидные, сдачи не дадут, оружия нет. Но мы их назовем страшным словом “тоталитарная секта”, и вы сможете героически их накрыть».

Кирилл говорил быстро, сбивчиво, словно боялся, что его прервут.

— Это симбиоз, Лена. Убойный отдел пришел в миссионерский отдел. Одним нужно оправдать свое существование и бюджеты, другим — уничтожить конкурентов. И они нашли друг друга. Полицейский с дубинкой и профессор с методичкой. Идеальная машина.

Я смотрела на него и пыталась сопоставить того Кирилла, которого знала, с этим человеком, рассказывающим о концлагере посреди мирного города.

— А пресса? — спросила я. — Вы обращались к журналистам?

Кирилл горько рассмеялся.

— Пресса? Лена, ты как с Луны свалилась. На следующий день после рейда по местному телевидению вышел сюжет. Знаешь, как он назывался? «Осторожно: ловцы душ». Там показали кадры оперативной съемки. Нас показали лицами в пол, в наручниках. А закадровый голос вещал про «изувеченные судьбы», про «квартиры, переписанные на гуру», про «шпионскую сеть». Ни слова правды. Ни одного доказательства. Только нарезка страшных картинок и комментариев «эксперта». Того самого, с бородкой, который вещает про «психологическое насилие».

Он замолчал, глядя в окно.

— Знаешь, что самое обидное? — тихо сказал он. — Не то, что били. А то, как на нас смотрели. Как на тараканов. Дегуманизация. Это первое, чему учат в этих центрах. Если ты назовешь человека «сектантом», он перестает быть человеком. Он становится

«объектом вербовки», «зомби», «агентом». Его не жалко. Его можно унижать, можно бить, можно отобрать у него детей.

— Детей? — меня передернуло.

— Да. У нас в общине есть семья. К ним пришли из опеки. Сказали: «Вы вовлекаете детей в деструктивный культ. Это вредит их психическому здоровью». И показали заключение психолога. Психолога, который ребенка в глаза не видел, зато читал лекции Дворкина. Они угрожают забрать детей в детдом, Лена. Ты представляешь, что это такое для матери?

Я представила. Холод пробежал по спине. Это было уже не просто нарушение прав человека. Это был террор. Методичный, холодный, обоснованный псевдонаучными терминами.

— Они сломали нам жизнь, — продолжал Кирилл. — Мы теперь собираемся подпольно, как первые христиане в катакомбах. Телефоны выключаем. Говорим шепотом. Каждый стук в дверь — сердце останавливается. Но самое страшное — они украли у нас имя. Мы больше не христиане для общества. Мы — «секта». Это клеймо, которое не смыть. Соседи косятся, на работе проблемы. «А, это тот, которого по телевизору показывали? Сектант?». И всё. Ты изгой.

Официант подошел, чтобы убрать пустые чашки. Он вежливо улыбнулся, но Кирилл вздрогнул от его приближения, словно ожидал удара. Я увидела этот рефлекс — рефлекс затравленного зверя — и мне стало страшно по-настоящему.

— Кирилл, — я накрыла его руку своей. — Это фашизм. Обыкновенный фашизм.

— Нет, — он покачал головой. — Это хуже. Эти... Они делают это с именем Бога на устах. Они говорят, что защищают «духовную безопасность». Но какая может быть безопасность, построенная на лжи и насилии?

Он полез во внутренний карман куртки и достал сложенный вчетверо лист бумаги.

— Возьми. Это копия того самого «экспертного заключения», на основании которого к нам ворвались. Почитай на досуге. Это шедевр казуистики. Там нет ни одного юридического факта. Только эмоции, ярлыки и цитаты из одного-единственного источника.

Я развернула лист. Текст был густым, тяжеловесным.

«...данная группа обладает признаками тоталитарной секты... практикует методы психологического манипулирования... представляет угрозу для традиционных ценностей... лидеры используют гипнотические техники...»

Никаких ссылок на уголовный кодекс. Никаких доказательств вреда. Только набор страшных слов, призванных вызвать у судьи панический ужас. И внизу, как печать дьявола, ссылка на методические рекомендации А. Л. Дворкина.

— Это индустрия, Лена, — сказал Кирилл, вставая. — Это просто индустрия производства врагов. Сегодня это мы. Завтра — кришнаиты. Послезавтра — йоги. А потом придут за теми, кто просто читает не те книги. Механизм отлажен. Смазан нашей кровью.

Он надел куртку, и я снова увидела, как он постарел. Это была не старость возраста, а старость усталости. Усталости человека, который живет в осажденной крепости.

— Я пойду, — сказал он. — Мне нельзя долго на одном месте. Паранойя, знаешь ли. Профессиональная болезнь сектанта.

— Кирилл, — я удержала его за рукав. — Что мне делать? Я журналист. Я могу написать...

Он посмотрел на меня с грустной улыбкой.

— Напиши. Если сможешь. Если напечатают. Но будь осторожна. Ты теперь тоже в зоне риска. Ты общалась со мной. Ты взяла этот документ. Для них ты уже — сочувствующая. А значит — потенциальная жертва «вербовки».

Он повернулся и пошел к выходу, сутулясь, словно ожидая выстрела в спину. Я смотрела ему вслед. За стеклом витрины, в мире дорогих машин и беззаботных людей, он выглядел чужеродным элементом. Ошибкой в коде матрицы.

Я осталась одна. На столе лежал лист бумаги — «экспертное заключение». Я провела пальцем по строчкам. Бумага была обычной, офисной, но от нее веяло холодом. Это был не просто документ. Это была лицензия на насилие. Индульгенция для садиста в погонах.

Я вспомнила бабушку. «Бог есть Любовь». Как далеко мы ушли от этой простой истины. Теперь Бог стал дубинкой. Стал оправданием для того, чтобы выбить человеку

зубы, разбить лицо о бетонный пол, унижить, растоптать. И все это — ради «чистоты веры».

Я посмотрела на улицу. Вечер опускался на Москву, зажигая огни. Город был красив, пугающе красив. Но теперь я видела трещины на этом глянцевом фасаде. Сквозь них сочились тьма. Тьма, которая пахла не серой, а типографской краской брошюр и оружейным маслом.

Я приехала похоронить бабушку, но вместо этого мне предстояло эксгумировать правду. Правду о том, как страну превратили в одну большую секту — секту ненависти, где главным жрецом был человек, чье имя стояло в углу этого проклятого листа.

Я попросила счет. Официант принес его с дежурной улыбкой. Я расплатилась, оставив щедрые чаевые — плату за то, что меня пока не трогали. За то, что я пока еще была по эту сторону витрины.

Выходя на улицу, я почувствовала, как мороз щиплет щеки. Но теперь этот холод был не снаружи. Он был внутри. И я знала, что согреться мне не удастся еще очень долго.

В моей сумке лежал документ, который был тяжелее любого камня. Это было первое вещественное доказательство в деле, которое я только начинала открывать. Дело об изгнании Агнца.

Глава 3: Картотека душ

Ночь в квартире бабушки на Соколе была наполнена звуками, которых я отвыкла замечать в Сан-Франциско. Здесь дома дышали. В вентиляции кто-то вздыхал, лифт гудел, как усталый зверь, а за окном, сквозь шум Ленинградского проспекта, пробивался вой сирены — тоскливый и бесконечный. Я сидела за старым письменным столом, покрытым зеленым сукном, и смотрела в светящийся прямоугольник ноутбука.

Вокруг меня, в полумраке комнаты, застыли тени прошлого: корешки собраний сочинений, фарфоровые пастушки, иконы в углу. Но теперь, после разговора с Кириллом

и визита в храм, эти иконы казались мне заложниками. Их охраняли не ангелы, а невидимые сторожевые псы с юридическими дипломами и «справками специалистов».

Я искала имя. Александр Дворкин.

Оно было везде. На брошюрах в прихожей, в «экспертном заключении», которое дал мне Кирилл, на сайтах епархий. Это имя стало ключом, открывающим двери в кабинеты следователей, и одновременно замком, запирающим сердца прихожан от любого инакомыслия. Мне нужно было понять, кто этот человек. Откуда он взялся? Кто дал ему право решать, какая молитва «правильная», а какая ведет к «психологической деформации»?

Я открыла поисковик. Первая же ссылка вела на официальную биографию. Я начала читать, и чем дальше я углублялась в текст, тем сильнее меня охватывало чувство сюрреализма.

Я ожидала увидеть биографию сурового аскета, монаха, который всю жизнь провел в стенах Троице-Сергиевой лавры, изучая святых отцов. Или, на худой конец, отставного полковника КГБ, переквалифицировавшегося в защитника духовных скреп. Но реальность оказалась куда более постмодернистской.

Александр Леонидович Дворкин. Гражданин США.

Я перечитала строчку дважды. Человек, который в своих брошюрах клеймил «западные культы» и «агентов влияния», сам был плоть от плоти того самого Запада, с которым так яростно боролся. Эмигрант. Диссидент, уехавший из Советского Союза в 1977 году.

Я откинулась на спинку жесткого стула. В этом была какая-то злая ирония, доступная только русской истории. Главный инквизитор современной России, человек, построивший карьеру на поиске «вражеских голосов», сам когда-то работал в бюро «Голоса Америки» в Вашингтоне и в мюнхенском бюро радиостанции «Свобода». Он жил в той самой среде, которую теперь называл источником духовной заразы.

Я представила его в Нью-Йорке восьмидесятых. Молодой, амбициозный, с длинными волосами (на старых фото он выглядел как типичный хиппи), он впитывал воздух свободы, учился в американских университетах. Он получил образование, но не

богословское в традиционном смысле, и уж точно не психологическое. Он был историком-медиевистом. Специалистом по Ивану Грозному.

Это многое объясняло. Человек, изучавший эпоху опричнины, решил воссоздать её методы в современной церковной жизни.

Но как он оказался здесь, на вершине этой пирамиды страха?

Я нашла интервью, где он рассказывал о своем возвращении. 1991 год. СССР рушится. Империя распадается на куски, идеологический вакуум засасывает в себя всё: от финансовых пирамид до новых мессий. Люди, потерявшие веру в коммунизм, ищут хоть какую-то опору. И в этот момент, в марте 1992 года, в Москву возвращается Александр Дворкин.

Он приходит в только что созданный Отдел религиозного образования и катехизации Московского Патриархата. Это было время хаоса и возможностей. Старая церковная номенклатура была растеряна, они не знали, как говорить с новым обществом, как реагировать на наплыв проповедников с Запада.

И тут появляется он. Человек, который «видел мир».

В интервью Дворкин вспоминал свою встречу с протоиереем Глебом Каледой. Этот эпизод подавался как житие, как момент призвания пророка.

«Отец Глеб почти сразу предложил мне заняться сектами. Я ответил, что я историк Церкви, а секты — это антиисторическое понятие... “Да и не знаю я ничего о сектах!” — говорю. “Нет, знаете! — возразил отец Глеб. — Секты идут с Запада, значит, в отличие от нас, вы там хотя бы что-то о них слышали. Кроме того, вы владеете иностранными языками”».

Я перечитала этот фрагмент. В нем крылась суть подмены. Его наняли не потому, что он был духовным авторитетом. Не потому, что он был святым подвижником. Его наняли как «специалиста по Западу». Как переводчика. Как человека, который владеет технологиями.

Церковь, испуганная конкуренцией, искала не богослова, а менеджера по безопасности. И Дворкин идеально подошел на эту роль. Он привез с собой не Евангелие, а методичку.

Я продолжила копать. Откуда он взял эту методичку? Если он сам признавался, что «ничего не знал о сектах», кто его научил?

След вел в Данию. В город Орхус.

Весной 1993 года, когда Россия бурлила в преддверии конституционного кризиса, Дворкин познакомился с датским профессором Йоханнесом Огордом. Это имя мне ничего не говорило, но для Дворкина оно стало священным. Огорд был основателем «Диалог-центра» — организации, которая занималась сбором компромата на новые религиозные движения.

Дворкин писал об этом с придыханием ученика, нашедшего гуру:

«В августе я, по приглашению профессора, впервые побывал в Дании... познакомился с разработанной им концепцией “диалога в конфронтации с христианских позиций”, поработал в “гурутеке” (библиотеке сектантской и противосектантской литературы)... Так родился Центр св. Ирины Лионского».

«Гурутека». Слово царапнуло слух. Это была не библиотека духовной литературы. Это была картотека врагов. Коллекция досье. Огорд научил Дворкина главному: информация — это оружие. Не нужно спорить о догматах. Не нужно доказывать, что твоя вера истинна через любовь и чудеса. Достаточно найти грязь на оппонента. Достаточно собрать слухи, газетные вырезки, скандалы и упаковать это в наукообразную обертку.

Дворкин признавался с обезоруживающей откровенностью:

«Несколько лет подряд я ездил в Данию... и каждый раз привозил оттуда чемодан отксерокопированных документов, которые стали основой архива аналогичной организации в России».

Я закрыла глаза и представила эту картину. Аэропорт Шереметьево-2, начало девяностых. Таможенники, ищущие валюту и антиквариат. И Александр Дворкин, проходящий через зеленый коридор с чемоданом. В чемодане не джинсы, не видеомэгнитофоны, не лекарства для умирающих больниц. В чемодане — ксерокопии. Тонны бумаги, пропитанной ненавистью, страхом и паранойей. Чертежи будущей инквизиции.

Он привез в Россию вирус. Вирус, который на Западе уже начал мутировать и терять силу (методы депрограммирования там уже подвергались критике и судебным запретам), но здесь, на девственной почве постсоветского травмированного сознания, он нашел идеальную среду обитания.

Я посмотрела на стопку брошюр на столе бабушки. Теперь я знала их генеалогию. Это были не мысли святых отцов. Это был плохой перевод датских и американских методичек, адаптированный под российские реалии.

Но самое поразительное открытие ждало меня впереди. Я начала проверять его научные регалии.

В брошюрах и на телевидении его титровали как «профессора», «доктора философии», «ведущего эксперта». Но эксперта в чем?

У него не было базового психологического образования. Никакого. Ни диплома МГУ, ни сертификата курсов. У него не было степени по социологии. Его диссертация в Фордхемском университете была посвящена Ивану Грозному как религиозному типу. Это была чистая история.

Тем не менее, этот человек с легкостью ставил диагнозы. «Психологическое насилие», «зомбирование», «контроль сознания», «деформация личности». Он оперировал медицинскими и психиатрическими терминами с уверенностью хирурга, не имея при этом даже квалификации санитара.

Я нашла опубликованное воспоминание человека, знавшего его в те годы. Сергей Иваненко, религиовед, рассказывал о первой встрече с Дворкиным так:

«Активный, глаза горят у него... Он мне стал говорить, что вообще никакие эти справочники не нужны, и вообще изучать ничего тут не нужно, всё уже написано на английском языке — в основном — ... И нужно, конечно, согнуть эти все секты в бараний рог — кого запретить, кого сильно ограничить и прочее».

«Согнуть в бараний рог». Вот она, истинная методология. Не изучение, не понимание, не миссия. А силовая акция.

Дворкин создал уникальную нишу. Он стал «сектоборцем». Этой профессии не было в реестре Минтруда. Её не было в церковном уставе. Он придумал её для себя, как дети придумывают правила игры в песочнице. Только песочницей стала вся страна.

Он понял одну важную вещь: в новой России страх продается лучше, чем надежда. Церковь, едва вышедшая из подполья, боялась потерять паству. Чиновники боялись непонятных иностранных организаций. Родители боялись, что их дети уйдут из семьи. Дворкин предложил им всем универсальное лекарство — образ Врага.

Он заявил: «Я знаю, кто виноват. Я знаю, как их распознать. У меня есть чемодан из Дании, и там всё написано».

И ему поверили. Потому что это было просто. Не нужно было разбираться в тонкостях богословия пятидесятников или кришнаитов. Достаточно было наклеить ярлык: «Тоталитарная секта».

Я начала анализировать этот термин. «Тоталитарная секта». Он звучал весомо, научно, угрожающе. Но в российском законодательстве такого понятия не существовало. Его не было ни в Конституции, ни в законе о свободе совести. Это был новояз. Лингвистическая химера, созданная Дворкиным.

Определение было гениально в своей размытости. Под него можно было подогнать кого угодно.

«Секта — это группа, которая использует обман при вербовке и практикует контроль сознания...»

Кто определяет, был ли обман? Дворкин. Кто решает, есть ли контроль сознания? Центр Иринаея Лионского. Так он стал прокурором, судьей и экспертом в одном лице. Он создал систему, где презумпция невиновности была отменена. Если ты попал в его картотеку — ты виновен по определению.

Я вспомнила Кирилла. Его разбитое лицо. Его страх. Для Дворкина Кирилл был не человеком, ищущим Бога. Он был «объектом». Статистической единицей в отчете о проделанной работе.

Мне стало душно. Я встала и подошла к окну. Москва спала, укрытая низким, рыжим от фонарей небом. Где-то там, в лабиринтах улиц, в офисах с евроремонтом и в полицейских участках, работала машина, запущенная этим человеком.

Он не просто писал книги. Он строил сеть. Центр святого Иринаея Лионского был только вершиной айсберга. Я натыкалась на упоминания десятков региональных центров, работающих по его франшизе. Они копировали его риторику, его методы, его

ненависть. Это был своего рода сетевой маркетинг, только товаром была не косметика, а нетерпимость.

Я нашла еще одну цитату, которая заставила меня содрогнуться. Дворкин писал о своем учителе Огорде:

«Он провел громадную работу по систематизации собранного материала... Когда разразился судебный процесс целого ряда сект против меня, то немедленно приехал помогать. Все присутствовавшие... были поражены его знаниями и эрудицией».

Они поддерживали друг друга. Это был интернационал ненависти. Когда Дворкина прижимали к стене фактами, он вызывал подкрепление из-за границы. Западные «эксперты» приезжали, чтобы подтвердить: да, в России всё делается правильно, давите их, это опасные культы. Для российского судьи, привыкшего преклоняться перед иностранным авторитетом, мнение датского профессора перевешивало любые доводы защиты.

Я вернулась к столу. На экране ноутбука была открыта фотография Дворкина. Он смотрел на меня сквозь очки — внимательно, с легким прищуром. В этом взгляде не было безумия фанатика. В нем был холодный расчет бюрократа.

Он был похож на персонажа Гоголя. Хлестаков, которого приняли за ревизора. Только этот Хлестаков не уехал, обманув городничего. Он остался. Он возглавил город. Он переписал законы. Он убедил всех, что только он может спасти город от нашествия невидимых монстров.

И самое страшное — он убедил в этом Церковь.

Я думала о бабушке. О ее простой, теплой вере. О том, как она ставила свечи и шептала имена живых и мертвых. Для нее Церковь была домом. Для Дворкина Церковь была крепостью, а он был начальником гарнизона. Он выстроил стены там, где должны были быть двери.

В папке «Загрузки» лежал скачанный файл — список «тоталитарных сект», составленный его центром. Я открыла его. Это был длинный, бесконечный перечень. Там были не только экзотические культы. Там были протестанты, пятидесятники, адвентисты, группы йоги, педагогические кружки, центры реабилитации наркоманов.

Это была картотека душ, приговоренных к уничтожению.

Каждая строчка в этом списке означала чью-то сломанную судьбу. Обыски. Увольнения. Разводы. Детей, которых дразнят в школе.

Я поняла, что передо мной не просто публицистика. Это был план боевых действий. Дворкин не исследовал реальность — он конструировал её. Он создавал мир, в котором любой, кто не с нами — тот против нас. И этот мир, к моему ужасу, уже стал реальностью для миллионов людей.

Внезапно экран ноутбука мигнул и погас. Села батарея. Я осталась в темноте, слушая дыхание старой квартиры. Мне показалось, что тени в углах стали гуще.

Я нащупала в кармане визитку, которую дал мне Кирилл. На ней не было имени, только номер телефона.

Теперь я знала имя гонителя. Я знала его историю. Я знала, что его власть держится на страхе и невежестве. Но знание — это опасный груз.

Я вспомнила слова из Евангелия, которые так любила бабушка: «Узнаете истину, и истина сделает вас свободными». Но пока истина, которую я узнала, сделала меня только более одинокой. И очень, очень испуганной.

Я подошла к книжному шкафу и достала старый фотоальбом. На черно-белом снимке 1992 года бабушка стояла у входа в храм. Она улыбалась. За её спиной виднелись строительные леса. Тогда казалось, что мы строим что-то светлое. Что возвращение к вере — это возвращение к человечности.

Никто не заметил, как в тени этих лесов, с чемоданом, полным ксерокопий, проскользнул человек, который решил, что любовь — это слишком слабый инструмент для управления душами. И заменил её на картотеку.

Я закрыла альбом. Завтра похороны. Я буду стоять в храме, слушать молитвы и знать, что за иконостасом, в невидимом кабинете, сидит тень профессора Дворкина и ставит штамп «Неблагонадежен» на каждого, кто молится слишком искренне или не по уставу.

Но одно дело — понимать умом. Другое — увидеть механизм в действии. Я еще не знала, что этот механизм уже начал перемалывать не только «сектантов», но и саму ткань общества, превращая соседей в доносчиков, а учителей — в надзирателей.

Мой взгляд упал на газету, лежащую под ноутбуком. Дата была вчерашняя. В рубрике «Криминал» был короткий заголовок: «В Подмосковье задержана группа экстремистов». Я знала, что если прочту статью, то найду там знакомые слова: «зомбирование», «контроль», «угроза». Слова из словаря, который привезли в чемодане из Дании.

Я не стала читать. Я знала, что мне нужно делать дальше. Мне нужно было найти не слова, а людей. Тех, кто пострадал от этой «науки». Тех, кого этот самопровозглашенный эксперт вычеркнул из списка людей.

Ночь вступала в свои права, холодная и беззвездная. Я сидела в темноте, и мне казалось, что я слышу, как где-то далеко, в недрах огромного города, щелкают затворы. Не автоматов. А картотечных ящиков. Щелк-щелк. Еще одна душа подшита к делу. Еще одна жизнь превращена в бумажную пыль.

Глава 4: Желтые звезды

Кладбище было старым, но не тем уютным, заросшим сиренью погостом, который я помнила с детства. Теперь это был город мертвых с четкой навигацией, асфальтированными дорожками и камерами наблюдения на столбах. Даже смерть в Москве прошла процедуру реновации, став стерильной и упорядоченной.

Мы стояли у свежей могилы. Глина была жирной, тяжелой, смешанной с первым снегом. Священник, тот самый, с дорогими часами и равнодушным взглядом, которого я встретила вчера в храме, размахивал кадилом. Дым поднимался вверх, растворяясь в сером небе, но слова молитвы тонули в шуме проезжающих мимо грузовиков.

Вокруг меня стояли люди — соседи бабушки, дальние родственники, пара ее бывших коллег-учителей. Лица были скорбными, но в этой скорби читалась какая-то автоматическая, заученная покорность. Они крестились в нужных местах, кланялись, но их глаза оставались пустыми.

Когда гроб опустили, и священник бросил первую горсть земли, он повернулся к нам. Я ожидала проповеди о воскресении, о встрече с Богом, о том, что смерть — это не конец. Но батюшка, оправив рясу, заговорил о другом.

— Раба Божия Анна прожила долгую жизнь, — его голос был поставленным, дикторским. — Она сохранила веру в безбожные времена. И сегодня, когда наша Церковь снова под ударом, когда враг рода человеческого через свои орудия — секты и лжеучения — пытается растащить стадо Христово, мы должны быть бдительны. Сплотиться. Не допустить духовной заразы.

Я вздрогнула. У открытой могилы, над телом женщины, которая учила меня, что Бог есть Любовь, звучали слова войны. «Враг», «зараза», «сплотиться». Это была не проповедь. Это была политинформация.

Поминки проходили в бабушкиной квартире. Стол был накрыт по старинке: кутя, блины, винегрет. Люди выпили, расслабились, гул голосов наполнил комнату. Я сидела в углу, чувствуя себя шпионом в тылу врага. Я слушала.

Разговор зашел о соседке с третьего этажа.

— А Люську-то, слышали, уволили? — говорила полная женщина с химической завивкой, накладывая себе салат. — Из библиотеки поперли.

— За что? — спросил кто-то.

— Да говорят, в секту попала. Йога какая-то или веды. Книжки странные читала, детям советовала. Ну, директор и сказал: нам такие не нужны. Мало ли, чему она научит. Сейчас время такое, за детьми глаз да глаз нужен.

— Правильно, — поддакнул мужчина с красным лицом. — Этих сектантов развелось... Как тараканов. Травить надо, пока не размножились.

«Тараканов». «Травить».

Слова падали на скатерть тяжело, как камни. Никто не возмущился. Никто не спросил: «А была ли она хорошим библиотекарем?». Никто не поинтересовался, что именно она читала. Ярлык был наклеен. Человек был списан. Люська с третьего этажа перестала быть соседкой, женщиной, специалистом. Она стала «сектантом». А с тараканами не разговаривают. Их уничтожают.

Вечером, когда гости разошлись, оставив после себя запах перегара и грязную посуду, я осталась одна. Тишина квартиры давила на уши. Я подошла к столу, где все еще лежали брошюры, принесенные бабушкой из храма, и тот самый документ — «экспертное заключение», который дал мне Кирилл.

Я разложила их перед собой, как пасьянс. Мне нужно было понять механику этого процесса. Как получается, что милые, добрые люди, которые только что ели блины и вспоминали мою бабушку, с такой легкостью говорят о «травле» других людей?

Я начала читать, но теперь не как обыватель, а как лингвист, разбирающий вражеский шифр.

В текстах, написанных под эгидой центра Дворкина, и в статьях, на которые ссылался Кирилл, я обнаружила пугающую закономерность. Там почти не было богословия. Там была биология. Искажённая, страшная биология.

«Раковая опухоль на теле нации». «Метастазы лжеучений». «Вирусная инфекция». «Паразиты».

Я выписывала эти слова в блокнот. Это был не язык религии. Это был язык санитарии.

Если вы называете группу людей «раковой опухолью», вы автоматически снимаете с себя моральный запрет на насилие. Опухоль не лечат уговорами. Опухоль вырезают. С ней не ведут диалог. Ее уничтожают ради спасения всего организма.

Я вспомнила исторические параллели, и холод пробежал по спине. Это уже было. В тридцатые годы прошлого века одна европейская нация, славившаяся своей культурой и философией, вдруг начала называть другую группу людей «крысами» и «бациллами». Прежде чем заработали газовые камеры, заработали печатные станки.

Дегуманизация. Расчеловечивание.

Я открыла ноутбук и нашла статью о «методе желтых звезд». В нацистской Германии евреев заставляли носить желтые звезды на одежде. Это был визуальный маркер. Знак отличия, который превращал человека в мишень. Человек со звездой был выведен за скобки закона. Его можно было оскорбить, ударить, не пустить в магазин, уволить. Он был «социально мертв» еще до того, как его убивали физически.

В современной России желтых звезд не выдавали. Их заменили слова.

Ярлык «сектант» или «член тоталитарного культа» работал точно так же, как кусок желтой ткани. Он был невидим, но прилипал намертво.

Я нашла в сети историю той самой «Люськи» — Людмилы Ивановой, библиотекаря. О ней писала местная районная газета полгода назад. Статья называлась «Оккультизм в храме книги».

Текст был шедевром манипуляции. Журналист не приводил никаких фактов нарушения закона. Он просто жонглировал терминами. «Людмила И. была замечена в связях с сомнительными группами...», «Эксперты предупреждают об опасности восточных практик...», «Родители обеспокоены...».

Ни одного имени «обеспокоенных родителей». Ни одного доказательства вреда. Но в конце статьи стоял комментарий представителя «Центра религиоведческих исследований»: «Данное увлечение имеет признаки деструктивного культа и направлено на разрушение традиционной идентичности».

Этого хватило. Человека уволили. Соседи перестали здороваться. Желтая звезда засияла на ее лбу, видимая всем, кто читал газету.

Я поняла, что передо мной не просто хаотичная ненависть. Это была технология. Технология социального убийства.

Она состояла из трех этапов. Я начертила схему в блокноте.

Этап первый: Наклеивание ярлыка. Берется группа людей. Неважно, кто они — пятидесятники, кришнаиты, любители йоги или многодетные матери, обучающие детей дома. Им придумывается название. Желательно страшное, непонятное, вызывающее тревогу. «Неопятидесятники». «Психокульт». «Тоталитарная секта». Термин «тоталитарная секта», введенный Дворкиным, был гениальным изобретением. Он связывал религию с политическим тоталитаризмом, с ГУЛАГом и концлагерями, мгновенно вызывая у постсоветского человека рвотный рефлекс страха.

Этап второй: Дегуманизация. Ярлык наполняется содержанием. Но не фактами, а метафорами. «Они зомби». «У них нет своей воли». «Они биороботы». Если человек — зомби, значит, у него нет прав. Его не нужно слушать. Его крики о помощи — это просто программа. Его слезы — имитация. В брошюре, которую я держала в руках, говорилось: «Сектанты используют обман при вербовке, поэтому все, что они говорят

— ложь». Это была идеальная ловушка. Презумпция виновности. Любое слово оправдания воспринималось как подтверждение их коварства.

Этап третий: Социальная изоляция и репрессии. Когда общество подготовлено, когда «крысы» и «опухоли» обозначены, приходят люди в форме. И общество аплодирует. Или молчаливо кивает, как те люди на поминках. «Правильно, травить надо».

Я включила телевизор. Шел вечерний выпуск новостей. На экране мелькали кадры оперативной съемки: люди в масках врываются в квартиру, кладут кого-то лицом в пол. Диктор, молодая женщина с безупречным макияжем, читала текст с той же интонацией, с какой читают прогноз погоды:

— В Ярославле пресечена деятельность ячейки экстремистской организации. Адепты запрещенного культа проводили собрания, вовлекая в свои ряды несовершеннолетних...

«Адепты». Не верующие, не граждане. Адепты. Слово из словаря фэнтези или криминальной хроники.

— Эксперты отмечают, — продолжала диктор, — что данная организация использует методы психологического программирования, превращая людей в послушных марионеток.

И снова ссылка на «экспертов». Медиа транслировали ярлыки, созданные «сектоведами», полиция использовала эти ярлыки как основание для рейдов, а «сектоведы» использовали полицейские сводки как доказательство опасности «сект».

Это был вечный двигатель ненависти. Самоподдерживающаяся система.

Я выключила звук. Картинка продолжала мелькать. Лица задержанных были размыты пикселями. Их лишили даже лица. Они были просто пятнами на экране, объектами для ненависти миллионов телезрителей, жующих ужин.

Я вспомнила Кирилла. Его шрам. Для системы он был «адептом». Для меня он был мальчиком, который играл на скрипке. Но мой голос, голос одиночки, тонул в этом океане государственного шума.

Внезапно мне стало страшно не за Кирилла, а за тех, кто сидел сегодня за столом. За соседей. За того мужчину с красным лицом. Они думали, что они в безопасности, потому что они «нормальные». Потому что они «традиционные».

Они не понимали главного: в системе, построенной на поиске врагов, понятие «нормальности» сужается с каждым днем. Сегодня «желтую звезду» вешают на пятидесятника. Завтра — на католика. Послезавтра — на того, кто читает не те книги. А потом — на того, кто просто недостаточно громко аплодирует при виде расправы.

Механизм клеймения универсален. Ему все равно, кого перемалывать.

Я нашла в интернете скан старой листовки времен Третьего рейха. На ней была изображена карикатурная крыса с человеческим лицом. Подпись гласила: «Крыса — уничтожь ее». Рядом я положила современную карикатуру из антисектантской газеты. На ней был изображен паук, опутавший православный храм паутиной. Лицо паука было искажено злобой. Подпись: «Сектантская угроза».

Стилистика была идентичной. Те же линии, та же агрессия, тот же посыл.

Я поняла, что смотрю не на религиозный спор. Я смотрю на возрождение фашистской эстетики и методологии. Только теперь она прикрывалась не свастикой, а крестом. И это было самым чудовищным извращением.

Христос был тем, кого клеймили. Его называли богохульником, нарушителем закона, другом мытарей и грешников. Его распяли как преступника, повесив Ему на крест табличку — своего рода «желтую звезду» того времени.

А теперь те, кто называл себя Его учениками, взяли в руки молоток и гвозди. Они сами стали теми, кто пишет таблички.

Я подошла к окну. Ночная Москва сияла. Огни реклам, фары машин, свет в окнах. За каждым из этих окон жили люди. И каждый из них мог завтра проснуться с «желтой звездой» на двери.

В папке с документами, которую я собрала за эти дни, лежал еще один файл. Это была стенограмма судебного заседания по делу о ликвидации одной из общин. Я начала читать показания свидетеля обвинения.

«Я испытывал страх, находясь рядом с ними... Они улыбались, но я знал, что это “бомбардировка любовью” ... Мне казалось, что меня хотят завербовать...»

«Мне казалось». «Я знал». Никаких фактов. Только эмоции, подогретые пропагандой. Судья принял эти показания. Общину ликвидировали.

Это был суд над мыслепреступлением. Суд над улыбкой. Если ты улыбаешься — ты вербуешь. Если ты добр — ты скрываешь злые намерения.

Я представила, как этот вирус подозрительности проникает в школы, в офисы, в семьи. «Мама, а почему наш учитель физики не пьет водку на корпоративе? Он что, сектант?». «Дорогая, твой сын слишком увлекся чтением Библии, смотри, как бы его не зазомбировали».

Общество, зараженное идеей «сектантства», начинает пожирать само себя. Оно становится стерильным, агрессивным и бесконечно одиноким.

Я вспомнила слова Ханны Арендт о банальности зла. Зло не всегда носит рога и копыта. Иногда оно носит дешевый костюм «эксперта-религиоведа» и очки в тонкой оправе. Иногда оно говорит голосом заботливой соседки: «Травить их надо».

На столе завибрировал телефон. Пришло уведомление из новостного канала.

«В Государственную Думу внесен законопроект об ужесточении ответственности за незаконную миссионерскую деятельность. Понятие “миссионерство” предлагается трактовать максимально широко...»

Я отложила телефон. Петля затягивалась. Теперь любой разговор о Боге вне стен специально отведенных гетто мог стать преступлением. Бабушка, которая говорила мне на улице «Бог есть Любовь», сегодня стала бы преступницей. Ее слова подпали бы под статью.

Я посмотрела на ее фотографию в черной рамке. Она успела уйти вовремя. Она не увидела, как ее веру превратили в полицейскую дубинку.

Но я осталась. И я видела.

Я взяла маркер и на чистом листе бумаги нарисовала шестиконечную звезду. А внутри написала одно слово: «СЕКТАНТ». Потом зачеркнула его и написала: «ЧЕЛОВЕК».

Бумага стерпит все. А люди?

В коридоре послышался шум. Кто-то спускался по лестнице, громко топая. Потом раздался звук удара — видимо, пнули чью-то дверь. И пьяный голос проорал: — Открывай, сука! Я знаю, что ты там!

Я замерла. Это был просто пьяный дебош, обычное дело для московской окраины. Но в контексте того, что я только что прочитала, этот крик прозвучал как пророчество.

«Я знаю, что ты там».

Они знают. У них есть списки. У них есть адреса. И у них есть моральное право, выписанное профессором Дворкиным, выбивать двери.

Я погасила свет в комнате, но темнота не принесла облегчения. В темноте желтые звезды, невидимые глазу, горели еще ярче. Они горели на дверях тысяч квартир по всей стране, отмечая тех, кто был назначен на заклятие ради спокойствия большинства.

И самое страшное было не в том, что эти звезды существовали. А в том, что большинство, включая моих родственников на кухне, считало, что так и должно быть. Что это — необходимая санитарная мера.

Я закрыла глаза, но перед внутренним взором стояла не икона, а карикатура с пауком. Паук плел паутину, и в этой паутине запутывалась не «секта». В ней запутывалась сама душа России, задыхаясь от ненависти, которую ей продали под видом лекарства.

Завтра мне предстояло сделать следующий шаг. Я нашла в документах упоминание одной организации. РАЦИРС. Российская ассоциация центров изучения религий и сект. Звучало солидно, почти академически. Но я уже знала, что за этим фасадом скрывается нечто иное. Нечто, имеющее структуру спрута.

Но это будет завтра. А сегодня я слушала тишину и думала о том, как легко слово может убить. И как трудно потом воскресить убитое слово. Слово «брат». Слово «ближний». Слово «любовь».

Они были вычеркнуты из словаря. На их месте зияла черная дыра, прикрытая желтой звездой.

Глава 5: Спрут (РАЦИРС)

Монитор ноутбука светился в полумраке кухни, как единственный маяк в океане ночной Москвы. На экране была открыта карта России. Я наносила на неё точки. Сначала это казалось хаотичным набором географических меток: Новосибирск, Тула, Саратов, Екатеринбург, Ставрополь. Но по мере того, как я вбивала в поисковик новые названия, точки начинали сливаться в единую, плотную сеть. Линии тянулись от периферии к центру, сплетаясь в тугой узел где-то в районе Крутицкого подворья в Москве.

Я искала ответ на вопрос, который мучил меня после встречи с Кириллом: как один человек, пусть даже с громким голосом и американским паспортом, может дирижировать полицейскими рейдами по всей стране? Как его личная паранойя превращается в государственные протоколы?

Ответ лежал на поверхности, скрытый за скучной, зубодробительной аббревиатурой: РАЦИРС.

Российская ассоциация центров изучения религий и сект.

Звучало это максимально безобидно, почти академически. Представлялись пыльные кафедры, седовласые профессора, спорящие о тонкостях догматики, симпозиумы с графинами теплой воды. Но чем глубже я погружалась в уставные документы и отчеты конференций, тем отчетливее понимала: передо мной не научное сообщество. Передо мной — частная разведывательная корпорация.

Я назначила встречу Вадиму, старому знакомому из «Коммерсанта», который специализировался на церковно-государственных отношениях. Мы встретились в шумном фуд-корте торгового центра на Ходынке. Вадим, худой, нервный человек с вечно бегающими глазами, выбрал это место не случайно: здесь, в гуле толпы и звоне посуды, любой разговор тонул, как камень в воде.

— Ты лезешь в структуру, у которой нет аналогов, Лена, — сказал он, размешивая сахар в бумажном стаканчике. — Ты думаешь, Дворкин — это просто публицист? Говорящая голова? Ошибаешься. Он — генеральный директор холдинга.

Вадим достал планшет и открыл схему.

— Смотри. РАЦИРС была создана в 2006 году. Официально — для координации борьбы с сектами. Фактически — это зонтичная структура, объединяющая десятки региональных центров. Они называют себя «миссионерскими отделами», «информационными центрами», «родительскими комитетами». Но суть одна. Это франшиза.

— Как «Макдоналдс»? — усмехнулась я.

— Хуже. Как частная военная компания, только на идеологическом фронте.

Вадим начал листать слайды.

— У них жесткая вертикаль. В центре — Дворкин и его ближайший круг. На местах — вице-президенты и руководители филиалов. Например, протоиерей Александр Новопашин в Новосибирске. Это не просто священники. Это полевые командиры. У каждого такого центра есть две функции: сбор информации и силовое лоббирование.

Он открыл документ, отсканированный с плохим качеством, но печать была видна отчетливо.

— Это соглашение о сотрудничестве. Между региональным отделением РАЦИРС и местным управлением МВД. А вот еще одно — с Центром по противодействию экстремизму. Ты понимаешь, что это значит?

Я кивнула, чувствуя, как холодеют пальцы.

— Это значит, что общественная организация получила доступ к дубинке государства.

— Именно, — Вадим понизил голос. — Они легитимизировали себя через эти соглашения. Полицейским из Центра «Э» лень разбираться в сортах веры. Им нужны «палки», показатели раскрываемости. И тут приходят ребята из РАЦИРС и говорят: «У нас всё готово. Вот адреса, вот явки, вот список литературы, которую надо признать экстремистской». Это симбиоз. Полиция дает силу, РАЦИРС дает обоснование.

Я вспомнила рассказ Кирилла о рейде. О том, как омоновцы использовали терминологию из брошюр. Теперь пазл сложился. Это была не самостоятельность лейтенанта. Это была отработанная схема, спущенная сверху.

— Но это еще не всё, — Вадим перелистнул страницу. — Слышала про «Экспертный совет по проведению государственной религиоведческой экспертизы» при Министерстве юстиции. И угадай, кто туда вошел?

— Дворкин?

— И его ученики. Министр юстиции Александр Коновалов, кстати, учился у Дворкина в Свято-Тихоновском университете. Люди, которые пишут памфлеты про «тоталитарные секты», сами же проводят государственную экспертизу этих сект. Они — прокуроры, они же — эксперты, они же — судьи. Шансов пройти регистрацию у «неудобной» организации — ноль.

Я смотрела на схему Вадима. Это был спрут. Голова находилась в Москве, а щупальца проникали в каждый регион, в каждое полицейское управление, в кабинеты чиновников.

— А деньги? — спросила я. — На что они живут? Гранты?

Вадим криво усмехнулся.

— Гранты — это мелочь. Тут работает другой механизм. Ты слышала про дело центра «Рожана»?

Я покачала головой.

— Это было несколько лет назад. Жанна Цареградская создала центр перинатального воспитания. Учила женщин грудному вскармливанию, естественным родам. Успешный бизнес, большие деньги. И вдруг — массированная атака. Статьи в прессе, сюжеты по ТВ. Заголовки: «Секта рожениц», «Оккультизм в пеленках».

— И при чем тут РАЦИРС?

— А при том, что координацией этой кампании занимались люди Дворкина. Цареградскую обвинили в создании секты. Начались проверки, уголовные дела. Бизнес был уничтожен. А знаешь, что самое интересное? Атака совпала по времени с выходом на рынок крупной сети клиники «Мать и дитя», конкурента «Рожаны».

Я замерла.

— Ты хочешь сказать, что они работают как киллеры? Только убивают не людей, а репутацию?

— Это называется «коммерческий сектоборческий заказ», — спокойно ответил Вадим. — Технология универсальна. Если тебе нужно устранить конкурента, ты можешь заказать на него компромат. Но обычный компромат — это скучно. А вот обвинение в сектантстве — это убойный аргумент. Это сразу привлекает внимание прокуратуры, опеки, СМИ. РАЦИРС предоставляет услугу «под ключ»: экспертное заключение, медийный шум, обращение в органы.

Я представила этот конвейер. Люди в рясах и строгих костюмах сидят в кабинетах и решают, кого сегодня назначить «сектой». Не потому, что они верят в опасность этого учения. А потому, что поступил заказ. Или потому, что нужно отчитаться перед спонсорами.

— Это индустрия, Лена, — повторил Вадим, убирая планшет. — Они монетизировали страх. И самое страшное — они убедили Церковь, что это необходимо.

— Церковь?

— РАЦИРС позиционирует себя как «служба внутренней безопасности» РПЦ. Они внушили иерархам, что кругом враги, что идет война, и только Дворкин знает, как обороняться. Помнишь протоиерея Дмитрия Смирнова? Он как-то прямо сказал на конференции: «Мы их наняли. Они служащие наши». Речь шла о депутатах и чиновниках. Они не скрывают, что внедряют своих людей во власть.

Мы расстались у метро. Вадим растворился в толпе, оставив меня с ощущением, что я прикоснулась к чему-то липкому и грязному.

Вернувшись домой, я продолжила изучать документы. Теперь я искала не идеологию, а структуру. Я нашла стенограмму выступления одного из сотрудников РАЦИРС на внутренней конференции. Он с гордостью рассказывал о своей работе.

«У нас ведется специальная картотека... Вот, например, на нашей территории есть такая-то община, пастор такой-то, город такой-то, дом такой-то, квартира такая-то, балкон такой-то, на балконе висит то-то...»

Я перечитала эту фразу трижды. «Балкон такой-то».

Это была не теология. Это была оперативная сводка. Они следили за людьми. Они записывали номера квартир, содержимое балконов, марки машин. Они собирали досье на каждого, кто казался им подозрительным.

Я представила этого человека. Молодой, вероятно, искренне верующий. Он ходит по улицам, заглядывает в окна, фотографирует. Он чувствует себя разведчиком в тылу врага. Ему сказали, что он спасает Святую Русь. А на самом деле он работает бесплатным осведомителем для частной спецслужбы, которая торгует ярлыками.

Картотека. Слово из лексикона НКВД.

В структуре РАЦИРС я обнаружила еще один пугающий элемент. Миссионерские отделы при епархиях. В идеале миссионер — это тот, кто идет к людям с проповедью любви, кто рассказывает о Христе. Но в системе, выстроенной Дворкиным, миссионерские отделы превратились в штабы контрразведки.

Я нашла отчет одного из таких отделов. Вместо списка крещенных людей или проведенных бесед там были сводки: «Выявлено три ячейки неопятидесятников», «Пресечена деятельность кришнаитов», «Проведен рейд совместно с УВД».

Они подменили понятия. Миссия стала карательной операцией. Проповедь заменили доносом.

Я вспомнила бабушкин храм. Тот самый стенд с листовками. Теперь я понимала, как они туда попали. Это была разнарядка. Приказ из центра. Каждый приход был обязан стать форпостом этой борьбы. Священников, которые отказывались вешать эти листовки или пускать «сектоборцев» на амвон, брали на карандаш. Их самих могли обвинить в «модернизме» или сочувствии еретикам.

Система пожирала своих.

Вечером я наткнулась на интервью Валерия Отставных, человека, который много лет был внутри этой системы, но нашел в себе силы уйти. Его слова звучали как приговор:

«Это не научная организация. Она не занимается изучением религий. На самом деле, это служба внутренней безопасности Церкви... Член РАЦИРС должен быть “беспоощаден к врагам Рейха”. Помните, как в “17 мгновений весны”?»

«Враги Рейха».

Метафора, которую использовали сами участники, говорила больше, чем любые аналитические статьи. Они строили Рейх. Рейх, где порядок обеспечивается тотальным контролем и зачисткой инакомыслящих.

Я подошла к окну. Внизу, во дворе, стояла полицейская машина. Мигалка лениво вращалась, отбрасывая синие блики на снег. Раньше я бы не обратила на нее внимания. Теперь я видела в ней часть механизма.

Где-то там, в недрах этой машины, возможно, лежал планшет с адресом. И этот адрес был получен не в ходе оперативно-розыскных мероприятий, а передан «экспертом» из соседнего церковного прихода.

Я поняла, что Кирилл был прав. Это не просто гонения на отдельные группы. Это захват государства. Тихий, ползучий переворот. Группа людей, не имеющих никакого конституционного статуса, присвоила себе право решать, кто является лояльным гражданином, а кто — «агентом влияния».

Они создали параллельную власть. Власть, которая не подчиняется законам, потому что она действует от имени «высшей истины». И эта власть имеет свои суды, свою полицию и свою разведку.

Я снова посмотрела на карту на экране. Точки РАЦИРС горели красным. Это была карта оккупации. Только оккупанты пришли не из-за границы. Они выросли здесь, вскормленные страхом и безразличием общества.

Но была одна деталь, которая не давала мне покоя. Масштаб. Деньги. Влияние. Все это требовало колоссальных ресурсов. Неужели все это держится только на энтузиазме Дворкина и пожертвованиях бабушек?

В документах то и дело мелькали ссылки на зарубежные поездки. Франция, Германия, Китай. Дворкин постоянно летал на конференции. К нему приезжали иностранные гости.

Я вспомнила слова Вадима: «Ты думаешь, это только наша проблема? Ошибаешься».

Я открыла папку с фотографиями с одного из юбилеев РАЦИРС. В президиуме, рядом с Дворкиным и российскими генералами в погонах, сидели люди в европейских костюмах. Они улыбались, жали руки, кивали.

Кто они? Почему европейцы поддерживают организацию, которая использует методы, осужденные в цивилизованном мире?

Я увеличила изображение бейджика одного из гостей. Там была аббревиатура, которую я видела впервые: FECRIS.

Европейская федерация центров по исследованию и информированию о сектантстве.

Нить, за которую я потянула, уходила далеко за пределы Садового кольца. Спрут, которого я рисовала на карте России, оказался лишь частью чего-то гораздо большего. Глобального.

Я закрыла ноутбук. Голова гудела. Мне казалось, что стены квартиры сдвигаются. Ощущение слежки, о котором говорил Кирилл, перестало быть паранойей. Теперь я знала: у них есть картотека. И, возможно, мое имя уже вписано в одну из граф. «Журналист. Интересуется структурой. Контакт с пятидесятниками. Потенциально опасна».

Но страх, который я испытывала, смешивался с холодной яростью. Они превратили веру моей бабушки в полицейский протокол. Они превратили храмы в филиалы спецслужб. Они украли у людей право на частную жизнь, заглядывая к ним на балконы и в души.

Я достала телефон и набрала номер Кирилла.

— Ты спишь? — спросила я, когда он ответил.

— Нет. Что случилось?

— Я поняла, как это работает, — сказала я. — Это не хаос. Это корпорация. И у них есть слабые места.

— Лена, — голос Кирилла был напряжен. — Будь осторожна. Ты не представляешь, куда лезешь.

— Представляю, — ответила я, глядя на синий отблеск мигалки на потолке. — Я лезу в бухгалтерию дьявола.

На столе лежал листок с нарисованной схемой. В центре я обвела слово РАЦИРС жирным черным маркером. Чернила просочились сквозь бумагу, оставив пятно на белой скатерти. Пятно, похожее на растекающуюся нефть. Или на черную кровь системы, которая решила, что она и есть Бог.

Глава 6: Французский связной (FECRIS)

Московское утро началось не с колокольного звона, а с запаха свежей выпечки. Я сидела в «Волконском» на Маросейке, глядя, как за окном, по слякотной улице, спешат люди, укутанные в шарфы. Передо мной стояла чашка капучино и круассан — маленький кусочек Парижа в центре замерзающей столицы. Ирония этого момента дойдет до меня чуть позже, когда я открою ноутбук и пойму, что именно из Парижа, города просвещения и свободы, тянутся нити той паутины, в которой запуталась моя страна.

Вчерашнее открытие о структуре РАЦИРС оставило тяжелое послевкусие. Я поняла, как работает машина внутри России: полицейские дубинки, «экспертные заключения», сломанные судьбы в регионах. Но оставался один вопрос, который не давал мне покоя, как заноза. Легитимность.

Александр Дворкин, человек без профильного образования, бывший эмигрант, сумел убедить генералов МВД и архиереев РПЦ в своей незаменимости. Но на чем держится его авторитет? Почему его слушают люди, привыкшие верить только гербовым печатям?

Ответ нашелся в одной из сносках на сайте его Центра. Там, среди перечня регалий, стояла аббревиатура, звучащая как название лекарства от тропической лихорадки: FECRIS.

Европейская федерация центров исследования и информации о сектантстве.

Звучало солидно. По-европейски. Это был тот самый знак качества, который превращал провинциального «сектоборца» в фигуру международного масштаба. «Вице-президент Европейской федерации». С таким титулом можно открывать двери любых кабинетов. Чиновник в Рязани или Новосибирске, видя эту строчку в визитке, немедленно проникается уважением: перед ним не просто общественник, а представитель цивилизованного мира.

Я вбила FECRIS в поисковую строку. И бездна разверзлась.

То, что я обнаружила в следующие несколько часов, разрушило мой последний наивный миф. Я, как и многие либерально настроенные люди, привыкла думать, что угроза свободе всегда исходит из тоталитарного прошлого, из советских архивов, из подвалов Лубянки. Мы привыкли смотреть на Запад как на эталон прав человека.

Но документы на моем экране говорили об обратном. Инквизиция XXI века говорила с французским акцентом.

FECRIS была создана в Париже в 1994 году. И это не было собрание частных энтузиастов. Это была структура, встроенная в государственную машину Французской Республики. Я нашла разбор ее финансирования в академических материалах и сопоставила его с тем, что можно увидеть в открытых публикациях и отчетности. Цифры были сухими, но они кричали.

92 процента.

Именно такая доля бюджета FECRIS, начиная с 2001 года, формировалась за счет прямых вливаний от французского правительства. Остальные крохи — членские взносы. Частных пожертвований — практически ноль. Это означало одно: передо мной была типичная «общественная» витрина, которая без государственного финансирования едва ли могла бы сохранять масштаб и вес.

Я смотрела на эти графики и не могла поверить глазам. Франция, родина Вольтера, страна, подарившая миру Декларацию прав человека и гражданина, финансировала организацию, вице-президентом которой был Александр Дворкин. Человек, называющий пятидесятников «биомусором», а кришнаитов — «опухолью», получал европейскую «легитимационную надстройку»: статус, площадки, знакомства, цитируемость — всё то, что потом превращается в ресурс внутри России.

Я начала копать глубже, изучая историю создания этой структуры. Нити вели к двум французским организациям — UNADFI и CCMM. Их названия звучали так же бюрократически скучно, как и РАЦИРС. «Национальный союз ассоциаций защиты семьи и индивида». Кто же будет против защиты семьи?

Но за вывеской скрывалась жесткая идеология. Франция, в своей борьбе за «лаицизм» (светскость), создала уникальную модель нетерпимости. Если в России

инакомыслящих преследовали за то, что они «против Бога», то во Франции их преследовали за то, что они «слишком религиозны» не по государственному стандарту. Две крайности сошлись. Российский православный радикализм нашел идеального партнера во французском секулярном радикализме.

Я нашла имя Алена Вивьена. Бывший президент ССММ, бывший депутат, глава межведомственной миссии MILS. Человек, который в 90-е годы фактически объявил войну любым духовным движениям, не вписывающимся в католический мейнстрим или атеистическую норму. Именно он пролоббировал создание государственных органов по борьбе с «сектами».

В отчетах мелькали суммы. Сотни тысяч евро. Вивьен тратил бюджетные деньги на покупку недвижимости для своих организаций и на бесконечные поездки. В 2002 году он ушел в отставку на фоне финансового скандала, но дело его жило. MILS сменилась на MIVILUDES — Межведомственную миссию по надзору и борьбе с межконфессиональными злоупотреблениями.

MIVILUDES. Это слово встречалось в выступлениях Дворкина так же часто, как цитаты из святых отцов.

Я открыла фотоархив одной из конференций середины 2010-х. Зал с высокими потолками, флаги Евросоюза. На трибуне — Александр Дворкин. Он в хорошем костюме, уверенный, улыбающийся. Рядом с ним — Серж Блиско, президент MIVILUDES. Они жмут друг другу руки.

Это рукопожатие было символом. Оно означало: «Мы с тобой одной крови». Российский борец с ересями и французский чиновник. Один использует риторику «Святой Руси», другой — риторику «республиканских ценностей», но методы у них идентичны. Списки. Ярлыки. Дегуманизация.

Дворкин приезжал в Париж и говорил: «В России ужас, секты захватывают власть и страну, давайте объединим наши усилия в борьбе». Французы встраивали эти выступления в свою систему легитимации — через упоминания, приглашения, статусные роли и финансируемую государством инфраструктуру “антикультового” поля и потом ссылались в материалах: «По данным ведущего российского эксперта...». Затем Дворкин возвращался в Москву, тряс этими отчетами перед носом у депутатов Госдумы и говорил: «Смотрите, даже в просвещенной Европе признают эту проблему! Мы

должны перенимать передовой опыт». И именно так работал круговорот легитимности: “европейская” вывеска усиливала российский административный нажим, а российские кейсы подпитывали европейскую риторику угроз.

Легитимность создавалась из воздуха. Из перекрестных ссылок.

Но самое поразительное открытие ждало меня, когда я решила посмотреть, кто же физически составляет эту грозную европейскую федерацию. Если судить по сайту и размаху конференций, это должна быть армия ученых, юристов и психологов.

Реальность оказалась похожа на плохой анекдот.

Я нашла информацию о штаб-квартире FECRIS в Брюсселе. Адрес вел в жилой дом. Генеральный секретарь Мирей Деген — пенсионерка, бывшая учительница.

Я проверила другого ключевого функционера — Дидье Пашу, казначея из Марселя. Водитель трамвая.

Я сидела в кафе, и мне хотелось улыбаться. Водитель трамвая и учительница на пенсии. И Александр Дворкин. Вот они — три всадника Апокалипсиса, определяющие религиозную политику на континенте.

Это была «потемкинская деревня» планетарного масштаба. Фикция. Пустая оболочка. Но эта оболочка была накачана государственными деньгами и политическим влиянием. У водителя трамвая не было образования религиоведа, но у него была печать организации, аккредитованной при Совете Европы. У учительницы не было знаний о психологии, но она могла писать письма в Европарламент с требованием запретить ту или иную группу.

А Дворкин был вице-президентом.

Я представила, как это выглядит изнутри. Квартира. На столе — кружевные салфетки и печенье. А рядом — папки с досье на миллионы людей. «Черные списки».

Обмен этими списками был, пожалуй, самой зловещей функцией FECRIS.

Если, к примеру, какая-то религиозная группа попадала в немилость к Дворкину в России, он отправлял информацию в FECRIS. Там ее переводили на французский и английский, ставили штамп «Европейская федерация предупреждает» и рассылали по

всем странам-участницам. И вот уже группа йоги из Саратова оказывалась в списке «потенциально опасных культов» где-нибудь в Бельгии или Австрии.

И наоборот. Если французским властям не нравилась какая-то община, они через FECRIS спускали информацию в Россию, и Дворкин тут же начинал кричать: «Эту секту преследуют даже в толерантной Европе!».

Это была глобальная система очернения репутации.

Я вспомнила Кирилла. Его рассказ о том, как следователь цитировал ему «западных экспертов». Теперь я знала имена этих экспертов. Скорее всего, это были цитаты из методичек, написанных внутри этой сети активистов и чиновников.

В папке с документами, которую я скачала, был файл с названием «Итальянская точка зрения». Это был доклад правозащитников, которые пытались разоблачить эту сеть. Там описывалась история создания FECRIS. Оказывается, корни уходили еще глубже — в США, к организации CAN (Cult Awareness Network).

CAN была печально известна тем, что практиковала насильственное депрограммирование — похищение людей, удержание их в заложниках и психологическую ломку с целью заставить отказаться от веры. В 90-е годы CAN обанкротилась после серии исков от жертв и была закрыта. Но ее идеология не умерла. Она переехала через океан, мутировала и возродилась в виде FECRIS.

Американские «депрограмматоры» обучали европейцев. А европейцы теперь обучали россиян.

Я нашла письмо Герберта Роудейла, президента американского фонда AFF, написанное перед международной встречей в Париже весной 1990-го. Он писал о необходимости «совместного планирования», которое «не подлежит публичности».

Конспирация была заложена в фундамент. Они с самого начала знали, что делают что-то, что не понравится обществу. Они строили подполье гонителей.

Я допила остывший кофе. Круассан остался нетронутым. Аппетит пропал.

Мне нужно было увидеть это своими глазами. Не документы, а живое доказательство. Я нашла видеозапись симпозиума FECRIS в Риге, 2018 год. На сцене сидели люди. Дворкин — в центре, как патриарх этого собрания. Рядом — Александр Новопашин, тот самый протоиерей из Новосибирска, который называл украинцев

«сатанистами» и ездил на машине с буквой Z. А по другую руку — представители MIVILUDES.

Они улыбались друг другу. Новопашин говорил в микрофон, яростно жестикулируя. Переводчик переводил его слова на французский. Парадокс был чудовищным. Человек, клеймящий Запад, сидел на конференции, оплаченной западным правительством, в окружении западных чиновников, и получал от них одобрение.

Они использовали друг друга. Для российских «патриотов» FECRIS была способом сказать: «Мы не дикари, мы часть Европы». Для европейских бюрократов русские были полезными «цепными псами», которые могли говорить то, что в политкорректной Европе говорить было уже неприлично. Русские могли открыто называть людей «биомусором», а европейцы молчаливо соглашались, записывая это в свои отчеты как «мнение экспертов с мест».

Я смотрела на лица в зале. Там были не только русские и французы. Там были итальянцы, немцы, бельгийцы. Представители «Family Survival Trust» из Британии. Американцы из ICSA.

Это была глобальная сеть, опутавшая мир. И в центре этой паутины, дергая за ниточки, сидел мой соотечественник.

Я вспомнила слова Вадима: «Ты думаешь, это только наша проблема?».

Нет, Вадим. Это не только наша проблема. Это вирус, который поразил иммунную систему демократии.

Я нашла еще один факт, который заставил меня содрогнуться. Китай. В документах упоминалось сотрудничество FECRIS с Китайской ассоциацией по борьбе с сектами. Той самой, которая является подразделением компартии Китая и занимается уничтожением движения Фалуньгун.

Я читала отчеты о том, что делают с последователями Фалуньгун в Китае. Аресты, пытки, изъятие органов. Это был государственный террор в чистом виде. И FECRIS поддерживала это. Дворкин и его коллеги ездили в Китай, участвовали в симпозиумах, хвалили китайский опыт.

Они легитимизировали репрессивную машину.

Вице-президент европейской организации, финансируемой Францией, жал руки людям, ответственным за массовые репрессии в Китае. И никто в Париже не подал в отставку. Никто не вышел на демонстрацию. Деньги продолжали поступать.

Я закрыла ноутбук. Мне стало физически душно в уютном кафе. Запах выпечки теперь казался приторным, маскирующим запах гниения. Я вышла на улицу. Москва шумела, жила своей жизнью. Люди спешили по делам, не подозревая, что их вера, их мысли, их частная жизнь могут стать предметом обсуждения на симпозиуме в Марселе или Риге. Что их судьбу может решить водитель трамвая Дидье или пенсионерка Мирей, перекладывающая папки в своей гостиной.

В кармане зазвонил телефон. Это был Кирилл.

— Лена, ты где? — голос его был встревожен.

— Гуляю, — ответила я. — Пытаюсь переварить французский завтрак.

— Слушай, тут такое дело... — он замялся. — Помнишь ту семью, у которой угрожали забрать детей?

— Да.

— К ним сегодня пришли. Снова. Но на этот раз не просто полиция. С ними была женщина. Представилась психологом из какого-то центра помощи. Сказала, что действует на основании международных методик по выявлению насилия в семье.

— Международных? — переспросила я, чувствуя, как холодеет внутри.

— Да. Она показала удостоверение. Там было написано что-то про партнерство с европейскими организациями. Лена, они используют западные ювенальные технологии, чтобы забирать детей у верующих. Это тот самый спрут, о котором ты говорила.

Я посмотрела на серое небо. Снег падал на купола церкви на Покровке.

— Я знаю, Кирилл, — сказала я тихо. — Я знаю, кто оплачивает эти методики.

Я повесила трубку.

Теперь я видела полную картину. Это была не просто борьба за «чистоту православия». Это была глобальная сеть, в котором слились интересы российских силовиков, французских секуляристов и китайских коммунистов.

Им всем мешал Человек. Человек верующий, человек свободный, человек, не вписывающийся в стандарт.

Я пошла вниз по улице, к метро. Мне нужно было вернуться домой и собрать все эти файлы в один архив. Сделать копии. Отправить их на облако. Потому что теперь я понимала: информация, которой я владею, опасна не только в России. Она может взорвать уютный мирок многих европейских чиновников.

Но, прежде чем спуститься в подземку, я остановилась у газетного киоска. На витрине лежали журналы. Глянцевые обложки, улыбающиеся лица, заголовки о моде и путешествиях. Иллюзия нормальной жизни.

А рядом, в нижнем ряду, лежала газета с заголовком: «Осторожно: секты атакуют наших детей». И на фото — знакомое лицо с бородкой. Александр Дворкин смотрел на меня с газетной полосы, и в его взгляде я теперь читала не фанатизм, а циничное знание.

Он знал, что за его спиной стоят не только российские чиновники. За его спиной стоит мощь европейской бюрократии, которая, сама того не желая (или желая?), вырастила монстра.

Я купила газету как вещественное доказательство.

В переходе играл музыкант. Он пел что-то на французском. «*Non, je ne regrette rien*». Нет, я ни о чем не жалею.

Я прошла мимо, бросив ему в футляр монету. Я жалела. Я жалела о том, что узнала правду. Потому что с этой правдой мир перестал быть черно-белым. Зло больше не жило только на Востоке. Оно было везде. Оно было глобальным. И у него был отличный бюджет в евро.

Вечером, разбирая документы, я наткнулась на фотографию, которая стала для меня точкой невозврата в этом расследовании. Это был не официальный снимок с конференции. Это было любительское фото, сделанное, видимо, кем-то из участников банкета после мероприятия.

Стол заставлен бутылками вина. Лица покраснелись. Дворкин что-то рассказывает, активно жестикулируя вилкой. А рядом с ним, хохоча, сидит человек, которого я не сразу узнала. Но подпись под фото гласила: «Том Сэквилль, глава Family Survival Trust».

Я приблизила изображение. На лацкане пиджака Сэквилля был значок. Маленький, едва заметный. Но я разглядела его. Это был не крест. И не флаг Евросоюза. Это был символ, который я видела в исторических книгах. Символ, который заставил меня вспомнить, что история антикультового движения началась задолго до 1994 года. И задолго до Парижа.

Нить вела в прошлое. В Германию 1930-х годов. К теологам, которые обосновывали необходимость уничтожения «сект» ради чистоты арийской расы.

Я поняла, что «французский связной» — это только передаточное звено. Настоящие корни этой идеологии уходили в самую темную эпоху человечества. И тень, которая падала на современную Россию, была тенью не Эйфелевой башни, а чего-то гораздо более зловещего.

Но об этом я узнаю завтра.

Глава 7: Тень Вальтера Кюннета

Дождь за окном сменился мокрым снегом, который налипал на стекло тяжелыми, серыми хлопьями, превращая вид на ночной Ленинградский проспект в размытую акварель. Я сидела на кухне, обложенная словарями и распечатками. Мой ноутбук гудел от напряжения, переваривая гигабайты сканов из немецких архивов.

После того как я распутала клубок финансовых связей с Францией, мне казалось, что я достигла дна. Я думала, что цинизм современной бюрократии — это предел. Но интуиция подсказывала: деньги — это лишь топливо. Двигатель должен быть иным. Идеология, способная заставить священника благословлять полицейскую дубинку, а соседа — писать донос, не рождается в бухгалтерских отчетах. У нее должны быть более глубокие, темные корни. Я искала первоисточник. Генетический код ненависти.

В текстах современных российских «сектоборцев» постоянно мелькали ссылки на «традиционный европейский опыт». Они любили говорить о том, что Россия лишь

перенимает лучшие практики защиты духовного суверенитета. Я решила проверить, что это за практики и в каком году они были разработаны.

Поисковый запрос «история антикультового движения в Европе» вывел меня на термин, который звучал сухо и академично: *Apologetische Centrale*. Апологетический центр.

Я начала читать, и с каждой строчкой пространство уютной московской кухни сжималось, превращаясь в холодный кабинет рейхсканцелярии.

1921 год. Германия унижена Версальским миром, экономика в руинах, общество ищет виноватых. Протестантская церковь создает структуру для «защиты веры». Сначала это выглядит как обычная миссионерская инициатива. Но к 1932 году, когда руководителем Апологетического центра становится баварский теолог Вальтер Кюннет, ситуация меняется.

Я смотрела на фотографию Кюннета. Лицо интеллектуала, профессора, человека высокой культуры. Ничего общего с карикатурными злодеями из кино. Именно такие лица, спокойные и уверенные в своей правоте, страшнее всего.

26 апреля 1933 года. Гитлер уже канцлер, но машина террора еще только разогревается. И в этот момент, когда многие еще сомневаются, Кюннет готовит тексты о «церкви и еврейском вопросе».

Я нашла одну из его работ. Это был не погромный крик. Это была холодная, хирургическая аргументация. Кюннет называл иудаизм «инородным телом в организме Германии». Он использовал медицинские метафоры, те самые, которые я видела в брошюрах на столе моей бабушки. «Организм», «инфекция», «чужеродный элемент».

Кюннет не просто оправдывал антисемитизм. Он давал ему теологическое обоснование. Он говорил: чтобы нация выжила перед лицом Бога, она должна очиститься.

Но самое страшное открытие ждало меня в документах конца 1933 года. Кюннет не остановился на евреях. Его «Апологетический центр» расширил список врагов. В него попали все, кто не вписывался в узкие рамки нацистского понимания «традиции».

Я читала перечень: антропософы, дарвинисты, монисты, спиритуалисты, члены оккультных кружков. Все они были объявлены «сектами».

Слово «секта» в руках Кюннета перестало быть религиоведческим термином. Оно стало политическим клеймом. Инструментом сегрегации. Любая группа, имеющая отличную от государственной идеологию или структуру, автоматически попадала в разряд «сект».

16 декабря 1933 года. Дата, которую стоило бы выбить на черном камне истории религии. В этот день Гестапо — тайная государственная полиция — официально одобрила методы Апологетического центра.

Я нашла докладную записку самого Кюннета руководству Рейхской церкви. Его тон был полон гордости, как у отличника, получившего похвалу от строгого учителя:

«Гестапо выразило большой интерес к архиву сект Апологетического центра и к нашей работе по борьбе с свободомыслием, марксизмом и большевизмом. Гестапо выразило желание в будущем возглавить борьбу с нелегальным свободомыслием совместно с Апологетическим центром. Обмен материалами между гестапо и Апологетическим центром уже начался».

Я перечитала эту фразу трижды. «Обмен материалами».

Церковная организация стала информатором тайной полиции. Пасторы и теологи, призванные хранить тайну исповеди и утешать страждущих, начали собирать досье. Они составляли списки «неблагонадежных», фиксировали адреса собраний, имена лидеров, содержание проповедей. И передавали эти папки людям в кожаных плащах.

Я вспомнила рассказ Кирилла о рейде. О том, как полиция знала, где искать литературу. О том, как в деле появилась «справка специалиста». Механизм не был изобретен в современной России. Он был тщательно разработан в Берлине девяносто лет назад. Современные российские «сектоборцы» не придумали ничего нового.

Я открыла файл с одним из нюрнбергских массивов документов о кампаниях полиции против «тайных учений», оккультных кружков и «сект». Это было распоряжение, связанное с акцией против «тайных учений и так называемых тайных наук» (Aktion gegen Geheimlehren und sogenannte Geheimwissenschaften, также известной как «Aktion Heß»), проводившейся под руководством Рейнхарда Гейдриха — на тот момент шефа полиции безопасности и СД. Текст был сухим, канцелярским, лишённым эмоций, но от него веяло могильным холодом.

В документе предписывалось немедленно принять меры против организаций, клубов, объединений и кружков, подпадающих под категорию «тайных учений». Указывалось, что все подобные структуры без исключения подлежат ликвидации, а их имущество — списки адресов, архивы, переписка, оборудование, оккультные предметы — должно быть конфисковано. Отмечалось, что лица, посвящённые в соответствующие практики или учения, подлежат аресту, а дальнейшие меры в отношении них определяются органами полиции безопасности. Отдельно оговаривалось, что акция должна быть проведена по всей территории Рейха и по возможности в утренние часы — между семью и девятью часами.

Я посмотрела на часы. Было начало третьего ночи. К Кириллу пришли в шесть утра. Время немного сдвинулось, но суть осталась прежней. Внезапность. Тотальность. Конфискация всего — от книг до личных писем.

Гейдрих не разбирался в теологии. Ему было все равно, во что верят эти люди. Ему нужны были списки, подготовленные Кюннетом. Теолог указывал цель, палач нажимал на курок. Это был идеальный симбиоз идеологии и насилия.

Я попыталась найти отличия между риторикой Кюннета и современными статьями о «духовной безопасности». И с ужасом поняла, что в ключевых образах и логике обвинения отличия почти стираются.

Концепция «духовной безопасности», которую так любят цитировать российские чиновники и некоторые церковные иерархи, — это калька с нацистского понятия *Volksgemeinschaft* (народная общность). Идея о том, что нация — это единый организм, который может быть «заражен» чуждыми идеями, и поэтому нуждается в «иммунном ответе» в виде репрессий.

Кюннет писал о «защите немецкого духа». Современные эксперты пишут о «защите культурного кода». Слова разные, смысл один: инакомыслие — это болезнь. А болезнь не лечат дискуссиями. Ее по логике антикульта — выжигают.

Но история на этом не закончилась. Если бы Кюннет исчез в 1945 году, можно было бы списать это на безумие эпохи. Но Вальтер Кюннет выжил. Он не сел на скамью подсудимых в Нюрнберге. Он прошел денацификацию, заявив, что боролся за «чистоту веры», а не за Гитлера. И ему поверили. В 1946 году он стал почетным профессором богословия в Эрлангене. Он преподавал, писал книги, воспитывал студентов.

Зло не было наказано. Оно просто сменило мундир на профессорскую мантию.

Я проследила линию преемственности. Среди учеников и последователей Кюннета всплыло имя Фридриха-Вильгельма Хаака.

Вторая половина 1960-х. Германия переживает экономическое чудо, строит демократию. Но в Баварии, в лоне той же лютеранской церкви, Хаак возрождает дело Кюннета. Он становится «уполномоченным по вопросам сект» — сначала в рамках общецерковных структур (с 1965), затем полноштатно в Баварии (с 1969). Он восстанавливает архивы. Он снова начинает составлять списки.

Хаак был связующим звеном. Мостом, по которому вирус нацистской нетерпимости перебрался из Третьего Рейха в современную Европу. Именно Хаак стал ментором Йоханнеса Огорда — того самого датчанина, к которому в 90-е годы ездил с пустым чемоданом Александр Дворкин.

Цепочка замкнулась. Кюннет (нацистская Германия) -> Хаак (послевоенная Германия) -> Огорд (Дания) -> Дворкин (Россия).

Это была не просто передача знаний. Это была апостольская преемственность ненависти. Рукоположение в инквизиторы.

Дворкин привез в Россию не просто «западный опыт». Он привез методички, пропитанные духом гестапо. Когда он говорит о «тоталитарных сектах», он использует терминологию, разработанную для оправдания концлагерей.

Я нашла цитату Хаака, написанную уже в 70-е годы: «Если мы понимаем нашу веру правильно, мы не имеем права позволять “остальным” продолжать пребывать в своей вере...».

Отказ в праве на существование. Вот ядро этой философии. Для них «другой» — это не объект для миссии, не заблудший брат. Это ошибка, которую нужно исправить административным путем.

Я встала и подошла к окну. Москва спала, укрытая снежным одеялом. Где-то там, в архивах МВД и ФСБ, лежали списки. Списки пятидесятников, баптистов, кришнаитов, последователей йоги. Списки, составленные по лекалам 1933 года.

Мне стало физически дурно. Я представила, как эти списки пульсируют в темноте серверов, как бомба с часовым механизмом.

Я вспомнила бабушку. Она рассказывала, как в советское время верующих называли «мракобесами» и «агентами ЦРУ». Теперь маятник качнулся в другую сторону, но методы остались прежними. Тоталитаризм не имеет религиозной окраски. Он использует любую идеологию — коммунистическую, нацистскую, православную — как оболочку для своей сути: жажды абсолютного контроля.

На столе лежал распечатанный текст современной экспертизы по делу одной из общин. Я положила рядом распечатку доклада Кюннета.

Слева: «Данная группа представляет угрозу для традиционных ценностей, разрушает культурную идентичность, использует методы психологического воздействия». Справа: «Иудаизм является фактором разложения немецкого народного духа, угрожает целостности нации, использует скрытые методы влияния».

Найдите десять отличий. Стилистика, аргументация, даже построение фраз были идентичны. Это был плагиат. Кровавый плагиат.

Я поняла, почему Дворкин и его соратники так яростно атакуют любых независимых религиоведов. Академическая наука изучает факты. А «сектоведение» в версии Кюннета-Дворкина создает образ врага. Им не нужна правда о том, как живут кришнаиты или мормоны. Им нужен миф о «похитителях душ», чтобы оправдать насилие.

В папке с документами был еще один файл — статья о «фильтрах сект» в Баварии. Оказывается, даже в современной Германии, несмотря на уроки истории, эта практика сохранилась: в ряде земель и ведомств используются анкеты, нацеленные прежде всего на выявление связей со Scientology. При приеме на госслужбу люди должны заполнять анкеты о своей религиозной принадлежности. Это наследие Хаака. Наследие, которое Европа стыдливо прячет в тени, но которое в России расцвело пышным цветом, став государственной политикой.

Я налила себе воды. Руки дрожали. Стакан звякнул о зубы. Мы живем в стране, где победили фашизм, но проиграли его духу. Мы празднуем 9 мая, но используем методички тех, кого победили, для борьбы с собственными гражданами.

Это было самое горькое открытие. Предательство памяти. Те, кто громче всех кричит о патриотизме и борьбе с фашизмом на внешних границах, внутри страны строят систему, основанную на принципах Рейнхарда Гейдриха.

Я снова посмотрела на фото Кюннета. Он прожил долгую жизнь. Умер в 1997 году, в возрасте 96 лет, уважаемым человеком. Он успел увидеть, как его семена проросли на новой почве. Возможно, он даже знал о молодом энтузиасте из Москвы, который так жадно впитывал мудрость его учеников.

Тень Вальтера Кюннета накрыла мой город. Она легла на золотые купола храмов, на кабинеты следователей, на кухни, где люди шепотом обсуждают новости. Эта тень была длинной и холодной.

Внезапно экран ноутбука погас — сработал таймер сна. В черном зеркале монитора я увидела свое отражение. Усталое, бледное лицо с темными кругами под глазами.

Я подумала о том, что знание — это не только сила. Это еще и ответственность. И боль. Теперь я не могла просто сказать: «Это перегибы на местах». Я видела систему. Мне нужно было сохранить эти документы. Не просто на диске. Мне нужно было спрятать их так, чтобы они не исчезли при очередном обыске. Потому что теперь я точно знала: обыски будут. Логика процесса неумолима. Если запущен механизм поиска врагов, рано или поздно врагом станет тот, кто этот механизм изучает.

Я достала из ящика стола старую флешку. Скопировала на нее папку «Архив Кюннета». Потом надела пальто, сунула флешку в карман и вышла на балкон.

Холодный ветер ударил в лицо, выбивая слезы. Москва внизу была похожа на огромный, светящийся организм. Живой, дышащий, ничего не подозревающий. Люди спали, любили, ссорились, смотрели сны. А под кожей этого города, распространялась сеть «Апологетических центров», готовая в любой момент по команде «фас» начать зачистку.

Я посмотрела на соседний балкон. Там, среди лыж и старых коробок, стоял велосипед. Обычный быт. Но теперь я знала, что где-то в базе данных РАЦИРС может быть запись: «Квартира 45. Балкон захламлен. Жилец замечен в контактах с подозрительными лицами».

Я сжала флешку в кулаке. Она была теплой. Внизу, во дворе, дворник скреб лопатой асфальт. Звук был резким, ритмичным. Шкряб. Шкряб. Шкряб. Мне показалось, что это не лопата. Это звук пера, вычеркивающего имена из Книги Жизни.

Я вернулась в комнату и спрятала флешку в корешок старого томика Достоевского. «Братья Карамазовы». Глава о Великом Инквизиторе. Символично. Инквизитор вернулся, но теперь он носил не кардинальскую мантию, а костюм эксперта-религиоведа. И его главной тайной было то, что он служил не Христу, и даже не дьяволу, а банальному, бюрократическому порядку, установленному в 1933 году в кабинете на Принц-Альбрехт-штрассе.

На столе осталась лежать распечатка с цитатой Кюннета: «Даже атомные бомбы могут служить любви к ближнему».

Эта фраза, сказанная им в 1958 году, звучала как эпитафия гуманизму. Если атомная бомба — это любовь, то что тогда ненависть?

Я выключила свет. Темнота в комнате стала плотной, осязаемой. Но теперь я знала, кто прячется в этой темноте. И у него было имя. Немецкое имя.

Глава 8: Диагноз как приговор

Кропоткинский переулок встретил меня ледяным ветром, который, казалось, дул не с Садового кольца, а напрямик из пятидесяти третьего года. Я стояла перед зданием, само название которого на протяжении десятилетий вызывало у советского человека рефлекторную дрожь, сравнимую разве что с упоминанием Лубянки. Институт имени Сербского.

Здание выглядело обманчиво обыденно. Желтая штукатурка, классический фасад, решетки на окнах, которые можно было бы принять за декоративные, если не знать, кто и почему смотрел сквозь них полвека назад. Здесь, в этих стенах, диссидентам, поэтам и правозащитникам ставили диагнозы, не существовавшие ни в одном международном классификаторе болезней. «Вялотекущая шизофрения». Болезнь, единственным симптомом которой было несогласие с линией партии.

Я пришла сюда не как пациент, но ощущение иррационального страха было почти физическим. Мой собеседник, адвокат Дмитрий, специализирующийся на

«экстремистских» делах, назначил встречу в кафе неподалеку. Когда я вошла, он уже сидел за дальним столиком, обложенный папками, словно строил баррикаду.

— Вы смотрите на окна? — спросил он вместо приветствия, проследив за моим взглядом. — Зря. Самое страшное происходит не там. Самое страшное происходит в залах суда, где судья, не глядя вам в глаза, подписывает постановление о принудительной экспертизе.

Дмитрий был человеком без возраста, с серым, землистым лицом и глазами, в которых давно погас огонек надежды на справедливость. Он заказал черный кофе и пододвинул ко мне одну из папок.

— Читайте. Это то, что они называют «наукой».

Я открыла документ. Это было «Заключение комплексной психолого-психиатрической экспертизы». Я ожидала увидеть медицинские термины, описание симптомов, результаты тестов. Но текст, напечатанный мелким шрифтом, напоминал сюрреалистический коллаж из богословских проклятий и псевдонаучного новояза.

«Подэкспертный демонстрирует признаки индуцированного бредового расстройства... Критическое мышление подавлено вследствие применения техник психологического манипулирования... Личность деформирована под воздействием деструктивного культа...»

— Обратите внимание на подписи, — тихо сказал Дмитрий.

Я посмотрела в конец документа. Там стояли три фамилии. Психиатр, психолог и... «религиовед».

— В этом и есть фокус, Лена. Психиатр здесь — фигура номинальная. Он не знает, что такое «деструктивный культ». В медицинских справочниках нет такого диагноза. Поэтому он опирается на мнение «специалиста». А кто у нас специалист?

Я уже знала ответ. Люди из сети Дворкина. Люди из РАЦИРС.

— Это замкнутый круг, — продолжал Дмитрий, нервно постукивая ручкой по столу. — Суд назначает экспертизу. Следовательно, руководствуясь методичками, отправляет запрос не в независимый институт, а «проверенным» экспертам. Те пишут, что человек — зомби, что его воля подавлена, что он опасен для себя и общества.

Психиатр, видя такое заключение «культуролога», ставит медицинскую печать. И всё. Человек перестает быть гражданином. Он становится объектом лечения.

Я перевернула страницу. Там описывалось состояние обвиняемого: «Склонен к цитированию религиозных текстов, отказывается признавать вину, утверждает, что его преследуют за веру».

— То есть, — я подняла глаза на адвоката, — если человек говорит, что он невиновен и его преследуют, это трактуется как симптом болезни?

— Именно. «Бред преследования». Классика карательной психиатрии, описанная еще Подрабинеком. Если ты против системы — ты сумасшедший. Потому что нормальный человек не может быть против такой прекрасной системы.

Я вспомнила книгу Александра Подрабинека «Карательная медицина». В семидесятые годы он документировал, как здоровых людей превращали в овощей галоперидолом только за то, что они читали самиздат или ходили на митинги. Казалось, эта практика ушла в прошлое вместе с СССР. Но, как выяснилось, она просто ждала своего часа, чтобы вернуться в новой обертке.

Теперь вместо «антисоветской деятельности» диагнозом стала «религиозная одержимость».

Дмитрий достал из портфеля еще один документ. Это была копия судебного решения по делу Александра Сизикова.

— Слышали про него? — спросил он.

Я кивнула. Это имя мелькало в сводках правозащитников, но я не вникала в детали.

— Александр Сизиков. Крымский мусульманин. Инвалид первой группы. Он полностью слепой, Лена. Он потерял зрение в 2009 году.

Дмитрий сделал паузу, давая мне осознать этот факт.

— В 2020 году к нему вломился с обыском. ФСБ. Искали литературу «Хизб ут-Тахрир». И, конечно, нашли. Книги.

— У слепого? — переспросила я, чувствуя, как абсурд ситуации начинает давить на виски.

— Да. Книги без шрифта Брайля. Он физически не мог их читать. Он не открывал их десять лет. Но следствие это не смутило. Его обвинили в организации террористической ячейки. А когда защита начала указывать на очевидный идиотизм обвинения — как слепой может читать экстремистскую литературу и руководить подпольем? — система сделала ход конем.

Дмитрий горько усмехнулся.

— Они отправили его на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу. На месяц. В закрытое учреждение. Знаете, какая была мотивировка? «Для решения экспертных вопросов». Слепой человек, который нуждается в постоянном уходе, оказался заперт в палате с решетками.

Я представила себе этот ужас. Темнота, которая окружает тебя постоянно, чужие запахи, звуки тюремной больницы, невозможность понять, где ты находишься, и полная зависимость от санитаров, которые видят в тебе не пациента, а врага народа.

— Это пытка, — сказала я.

— Это метод, — поправил Дмитрий. — Когда у них нет доказательств преступления, они объявляют человека невменяемым. Или, наоборот, используют психиатрию как способ давления. Месяц в стационаре, в условиях изоляции, без связи с родными — это отличный способ сломать волю.

Я смотрела на фотографию Сизикова в деле. Человек выглядел растерянным. Система не просто перемалывала его. Она издевалась над ним, демонстрируя свою абсолютную безнаказанность.

Но дело Сизикова было лишь вершиной айсберга. Дмитрий показал мне статистику. Десятки, сотни случаев, когда верующих отправляли на принудительное обследование.

— Они возродили концепцию «промывания мозгов», — сказал Дмитрий, убирая документы. — Это их главный козырь. Понимаете, в юриспруденции есть понятие свободы воли. Если человек совершил преступление, он виноват. Если не совершил — невиноват. Но концепция «психологического манипулирования» уничтожает эту логику.

Он наклонился ко мне, понизив голос.

— Они утверждают, что в «сектах» используются особые психотехники, которые лишают человека воли. Зомбируют. А раз человек — зомби, то он не субъект права. Он — жертва. Его нужно спасать. Даже если он кричит, что не хочет, чтобы его спасали. Особенно если кричит.

Я вспомнила термин «депрограммирование». Он пришел с Запада, из той самой темной истории американских и европейских антикультистов. Насильственное удержание человека, психологическое давление, ломка личности с целью заставить его отказаться от своих убеждений.

— У нас это называется «реабилитация», — продолжил Дмитрий. — Звучит гуманно, правда? Но по факту это то же самое. Человека объявляют недееспособным де-факто. Его показаниям не верят, потому что им якобы манипулируют, потому что «он не ведает, что творит».

Он рассказал мне историю, которая заставила меня вспомнить французские документы, найденные накануне. История «Корали».

— Это классический кейс фабрикации жертвы, — сказал Дмитрий. — Франция, наши дни. Женщина попадает в тюрьму. Ей грозит реальный срок. И тут появляются «добрые люди» из антикультовых организаций. Они предлагают сделку: ты признаешь, что тебя зомбировали, что ты была марионеткой в руках гуру, и мы делаем из тебя жертву. Снимаем обвинения. Ты выходишь на свободу, пишешь книгу, выступаешь с лекциями о том, как страшна секта.

— А если она откажется?

— Тогда тюрьма. Надолго. И клеймо фанатички.

— И она согласилась?

— Конечно. Тюрьма — отличный аргумент. Она прошла через «депрограммирование». Психиатры, работающие на антикультистов, переписали ее биографию. Все ее осознанные решения были объявлены результатом гипноза. Она вышла на свободу, но перестала быть собой. Она стала рупором тех, кто ее сломал.

Дмитрий посмотрел на меня тяжелым взглядом.

— В России эту схему сейчас внедряют повсеместно. Людям, задержанным во время рейдов, предлагают выбор: либо ты идешь по статье «экстремизм» как участник,

либо ты пишешь заявление, что тебя «вовлекли обманом», что ты пострадавший, и даешь показания на пастора. Психиатрия здесь — инструмент шантажа. «Не подпишешь — отправим в дурку, заколем аминазином».

Я почувствовала, как к горлу подступает тошнота. Это была индустрия предательства. Они не просто сажали людей. Они заставляли их предавать себя, свою веру, своих друзей. Они растлевали души, прикрываясь заботой о психическом здоровье.

— А кто эти эксперты? — спросила я. — Кто конкретно пишет эти заключения?

Дмитрий достал листок бумаги со списком фамилий.

— Это закрытый клуб, Лена. Одни и те же люди. Они не имеют признания в академической среде. Настоящие ученые-религиоведы их презирают, называют шарлатанами. Но у них есть лицензия от государства. Они сертифицируют друг друга. Один пишет бред про «гипнотический транс», другой пишет рецензию: «Да, это выдающаяся научная работа». Третий, сидя в Минюсте, утверждает это как методичку.

Я пробежала глазами по списку. Знакомые фамилии из окружения Дворкина. Люди, которые не защитили ни одной честной диссертации, но вершили судьбы.

— Они создали параллельную науку, — сказал Дмитрий. — «Сектоведение». В ней нет фактов, есть только идеология. И на основе этой псевдонауки суды выносят приговоры. Это, как если бы суды начали сажать людей за колдовство, основываясь на экспертизе инквизиторов из «Молота ведьм».

— Но ведь есть закон, — слабо возразила я. — Есть Конституция.

Дмитрий рассмеялся. Смех был сухим, похожим на кашель.

— Лена, вы видели поправки в Уголовно-процессуальный кодекс?

Я покачала головой.

— Теперь суд может помещать подозреваемых в психиатрический стационар на срок до шести месяцев. Шесть месяцев, Лена! Полгода жизни. Для этого даже не нужно доказывать вину. Достаточно подозрения и справки от «специалиста», что человек ведет себя странно.

— А что значит «странно»?

— А это решает эксперт. Читает Библию не в том переводе? Странно. Молится на непонятных языках? Патология. Отказывается есть свинину? Пищевое расстройство на религиозной почве.

Мы вышли из кафе. Ветер усилился, срывая с деревьев последние бурые листья. Я смотрела на прохожих. Люди спешили к метро, уткнувшись в телефоны. Они выглядели нормальными. Но кто определяет норму?

В мире, который построил Дворкин и его кураторы, норма — это лояльность. Психическое здоровье — это отсутствие вопросов. Любое отклонение от генеральной линии партии (или церкви) теперь могло быть истолковано как симптом.

Я попрощалась с Дмитрием и пошла пешком в сторону вокзала. Мне нужно было проветрить голову, выдуть из нее этот канцелярский язык безумия.

По дороге я думала о термине «дегуманизация». Мы привыкли думать, что это что-то абстрактное. Но вот она, конкретика.

Назвать человека «зомби».

Это кажется просто метафорой. Но в юридическом поле это превращается в приговор. У зомби нет прав. Зомби не может воспитывать детей. Зомби не может владеть имуществом. Зомби не может голосовать. Зомби можно изолировать, лечить принудительно, уничтожать.

Антикультисты украли у людей не только веру. Они украли у них человеческое достоинство, объявив их сломанными куклами.

Я вспомнила бабушку. В последние годы она часто забывала слова, путала имена. Если бы к ней пришел такой «эксперт», он бы легко нашел у нее признаки «деструктивного влияния». Она отдавала пенсию на храм? Финансовая эксплуатация. Она читала акафисты часами? Введение в транс. Она верила в чудеса? Магическое мышление, бред.

Любая искренняя вера выглядит безумием для холодного, циничного взгляда, вооруженного инструкцией по поиску врагов.

Я остановилась у витрины книжного магазина. На полке «Психология» стояли ряды книг с яркими обложками. «Как управлять людьми», «Психология влияния», «Защита от манипуляций».

Психология стала оружием. Наука о душе, призванная исцелять, превратилась в дубинку.

В кармане завибрировал телефон. Пришло сообщение от Кирилла. Фотография.

На снимке была дверь его квартиры. На двери кто-то белой краской нарисовал крест. Не православный, а тот, который ставят на мишенях. Или на дверях чумных бараков.

Подпись: *«Приходили из опеки. Сказали, что поступил сигнал о неадекватном поведении родителей. Требуют пройти психологическое освидетельствование всей семьей. У того самого эксперта из списка».*

Я смотрела на экран, и буквы расплывались. Сначала они создали миф о «сектах-убийцах». Потом они создали псевдонауку, чтобы этот миф обосновать. Потом они пролоббировали законы, позволяющие запираť людей в психушки. А теперь они пришли за детьми.

Диагноз был поставлен не Кириллу. И не Александру Сизикову. Диагноз был поставлен всему обществу. «Индукцированное бредовое расстройство». Только бредили не жертвы. Бредили палачи, поверившие в свое право перекраивать человеческие души скальпелем страха. И общество, которое молчаливо согласилось с тем, что свобода совести — это симптом болезни.

Я спустилась в метро. В вагоне было душно и людно. Напротив меня сидел мужчина, который что-то бормотал себе под нос, раскачиваясь из стороны в сторону. Люди отодвигались от него, брезгливо морщились.

Раньше я бы подумала, что он пьян или болен. Теперь я поймала себя на мысли: а вдруг он просто молится? И вдруг завтра за ним придут люди в белых халатах?

Поезд нырнул в туннель. Темнота за окном была плотной, как повязка на глазах Александра Сизикова. Мы все ехали в этом поезде, и никто не знал, на какой станции его высадят и объявят сумасшедшим.

В моей сумке лежал диктофон с записью разговора с Дмитрием. Это была хроника болезни. Не медицинской, а социальной. Хроника того, как государство решило, что самый простой способ избавиться от инакомыслия — это объявить его патологией.

Я вышла на своей станции. На эскалаторе, поднимающемся вверх, я увидела рекламный щит. Социальная реклама. «Твое душевное здоровье — залог процветания нации».

Слова звучали как издевательство. Или как угроза.

На улице снова пошел снег. Он падал на грязный асфальт, на крыши машин, на плечи прохожих. Он был чистым и холодным, безразличным к человеческим страстям.

Я шла домой и думала о том, что грань между палатой №6 и обычной квартирой стала прозрачной. Стены исчезли. Остался только страх быть назначенным следующим пациентом. И этот страх был самым эффективным инструментом управления. Куда более надежным, чем решетки на окнах Института Сербского. Потому что решетки можно сломать. А страх, поселившийся внутри, ломает тебя сам.

Я открыла дверь подъезда. Домофон пискнул, пропуская меня внутрь. В почтовом ящике белел конверт. Без марки. Я достала его. Внутри лежал сложенный лист бумаги. Это была копия статьи из медицинской газеты. Заголовок был обведен красным маркером: «Новые методы лечения зависимых состояний в религиозных группах».

Кто-то очень хотел, чтобы я знала: они следят. И они готовы лечить.

Я поднялась на свой этаж, не вызывая лифта. Мне нужно было чувствовать напряжение мышц, чтобы убедиться, что я жива. Что я еще не зомби. Что моя воля все еще принадлежит мне.

Но, поворачивая ключ в замке, я не была в этом уверена. Диагноз уже был выписан. Осталось только вписать имя.

Глава 9: Агенты в рясах

Снег в Замоскворечье падал тихо, словно боясь нарушить тяжелую, ватную тишину, окутавшую старые переулки. Я шла на встречу, о которой договаривалась через третьи руки, используя мессенджер с исчезающими сообщениями. Моим собеседником должен был стать отец Андрей — священник, чье имя еще год назад гремело в

православных блогах как образец «живой проповеди», а сегодня произносилось шепотом, с оглядкой, как имя политического преступника.

Мы встретились не в храме. Храм для него теперь был закрытой территорией. Мы сидели в крошечной чебуречной на Пятницкой, где пахло жареным луком и тестом — запахом, странным образом напоминавший мне о советском детстве, о времени, когда кухня была единственным местом для честного разговора.

Отец Андрей оказался моложе, чем я представляла. У него были усталые глаза человека, который долго смотрел на свет, а потом этот свет резко выключили. Он был без рясы, в потертом свитере, и от этого выглядел еще более уязвимым.

— Вы ищете логику там, где ее нет, Елена, — сказал он, грея руки о пластиковый стаканчик с чаем. — Вы думаете, что «сектоборцы» воюют только с пятидесятниками или кришнаитами? Это фасад. Витрина для телевизора. Их цель еще и мы.

— Кто «мы»? — спросила я.

— Те, кто внутри. Те, кто посмел вспомнить, что Церковь — это Тело Христово, а не комбинат ритуальных услуг при министерстве обороны.

Он говорил тихо, но каждое слово падало тяжело, как камень.

— Понимаете, система, которую выстроил Дворкин и его кураторы, — это не просто внешний кордон. Это внутренняя полиция. Инквизиция, если хотите, только без богословских диспутов. Им не нужны еретики в средневековом смысле. Им нужны нелояльные.

Он достал из рюкзака папку.

— Посмотрите. Это материалы моего дела. Не уголовного, церковного. Знаете, в чем меня обвинили? В создании «внутрицерковной секты». В «неообновленчестве». В «модернизме».

Я открыла папку. Текст обвинения был написан тем же сухим, псевдонаучным языком, что и экспертизы против пятидесятников, которые я читала раньше. Те же обороты: «психологическая зависимость», «культ личности священника», «противопоставление себя священноначалию».

— Но ведь вы православный священник, — сказала я. — Вы служили литургию, исповедовали...

— Я призывал молиться о мире, — перебил он. — Я говорил, что Христос не благословлял убийство. И этого хватило. На меня написали донос. И знаете, кто? Не прихожане. Донос пришел из «Миссионерского отдела». От людей, которые должны проповедовать Евангелие, а вместо этого занимаются оперативно-розыскной деятельностью.

В этот момент я поняла, что передо мной открывается новый, еще более страшный слой реальности. Я думала, что «антикультовая сеть» — это щит, которым Церковь отгораживается от конкурентов. Но оказалось, что она пожирает организм изнутри.

Вернувшись домой, я снова села за архивы. Слова отца Андрея о «внутренней полиции» заставили меня искать исторические параллели. Я знала, что в России ничего не исчезает бесследно. Институты меняют вывески, но суть, ввевшаяся в стены кабинетов, остается прежней.

Я нашла опубликованные документы «Комиссии Якунина». В начале 90-х священник-диссидент Глеб Якунин получил доступ к архивам КГБ. То, что он там нашел, вызвало шок, но этот шок быстро заглушили, заболтали, спрятали под сукно.

Я читала отчеты 4-го отдела 5-го управления КГБ. Это были не просто доносы. Это была детальная, скрупулезная хроника предательства.

В документах не было имен, только клички. «Аббат», «Адамант», «Михайлов», «Островский». За этими псевдонимами скрывались высшие иерархи Церкви. Люди, которые стояли у престола, совершали таинства, призывали паству к покаянию, а потом садились за стол и писали отчеты для куратора с Лубянки.

Стиль этих отчетов был бюрократическим. *«Агент “Аббат” сообщает о настроениях в среде духовенства... Проведены мероприятия по компрометации объекта “Аптекарь” ...»*

«Аптекарь». Так в чекистских сводках проходил Александр Огородников, религиозный диссидент, отсидевший годы в лагерях за веру. Его не просто сажали. Его «компрометировали». Агенты в рясах, его братья по вере, помогали КГБ разрушать его жизнь, склоняли жену к разводу, распускали слухи.

Я смотрела на эти пожелтевшие сканы. Салатовые папки с грифом «Совершенно секретно». В них была задокументирована одна из самых темных страниц церковной истории — когда часть людей в церковной среде оказалась встроена в аппарат госбезопасности.

Но самое страшное было не в прошлом. Самое страшное было в том, что я видела прямую линию, тянущуюся от тех салатовых папок к современным отчетам РАЦИРС.

Совет по делам религий, который в СССР контролировал каждый вздох верующих, официально был распущен. Но его функции никуда не делись. Они просто были переупакованы. Их взяла на себя структура Александра Дворкина.

Я нашла стенограмму выступления одного из современных «миссионеров», сотрудника епархиального отдела. Он рассказывал о своей работе профессионального шпиона:

«Это раньше надо было ногами ходить, чтобы понять, сколько человек ходит в секту... А сейчас... Местный архиерей наш, помню, тогда аж за голову взялся и похвалился Дворкину: какие у нас профессионалы крутые, знают, какое у местного протестантского пастора белье сушится на балконе».

Я перечитала эту фразу. Белье на балконе.

Это была деталь, от которой веяло липким ужасом коммунальной кухни 37-го года. Они не спорили о догматах. Они подглядывали. Они знали, кто с кем спит, кто что ест, кто какое белье сушит. Это был уровень не богословия, а участкового инспектора.

Метод «Васи».

В той же стенограмме описывался еще один прием. Сотрудник миссионерского отдела создает фейковый аккаунт в соцсетях. Называет себя, к примеру, «Васей», «включает дурака» и начинает писать в группы «нетрадиционных» общин. Втирается в доверие, задает провокационные вопросы, собирает скриншоты.

«Миссионер, беспощадный к “врагам Рейха”, заходит под именем “Вася” ...»

Они сами использовали эту метафору. «Враги Рейха». Они не стеснялись. В своем кругу, на своих закрытых конференциях, они чувствовали себя солдатами невидимого фронта. Только фронт этот проходил не по линии добра и зла, а по линии лояльности системе.

В 90-е годы, когда рухнул СССР, на сцену вышел Дворкин. Он предложил идеальную схему: «Я создам для вас спецслужбу, которая будет называться “антисектантским центром”. Мы будем делать то же самое, что делал 4-й отдел: следить, собирать досье, уничтожать репутацию конкурентов. Но мы будем делать это под флагом защиты Православия и национальной безопасности».

И они согласились. Агенты «Аббат» и «Адамант», сменившие кураторов, с облегчением вздохнули. Система восстановилась.

Я изучала биографию протоиерея Александра Новопашина из Новосибирска. Вице-президент РАЦИРС. Человек, который превратил миссионерский отдел в штаб по борьбе с инакомыслием. На его сайте, который назывался «Информационно-консультационный центр», религии было меньше, чем в газете «Красная Звезда». Сплошные отчеты о «профилактике экстремизма», лекции для сотрудников МВД и ФСБ, фотографии с людьми в погонах.

Новопашин был идеальным примером этой мутации. Священник-политрук. Он ездил по воинским частям и полицейским управлениям, объясняя силовикам, кто в стране «пятая колонна». Он не проповедовал Христа распятого. Он проповедовал государственную безопасность.

Я нашла видео его выступления. Он стоял на трибуне, крепкий, уверенный в себе мужчина с окладистой бородой. За его спиной висел экран, на котором сменялись слайды: логотипы религиозных организаций, лица оппозиционеров, кадры с Майдана.

— Это гибридная война! — гремел его голос. — Секты — это инструменты западных спецслужб. Они разрушают наш культурный код. Тот, кто сегодня идет к неопятидесятникам, завтра предаст Родину!

Зал, заполненный курсантами в форме, слушал молча. Они записывали. Для них это было не проповедью, а инструктажем. Священник давал им моральную санкцию на насилие. Он говорил: «Бейте их. Это не люди, это агенты врага. Бог с вами».

Я вспомнила отца Андрея в чебуречной. Его тихий голос. Его боль. Он был настоящим врагом для Новопашина. Потому что отец Андрей верил в Бога, а Новопашин верил в «вертикаль». И в этой вертикали не было места для Христа, потому что Христос был слишком непредсказуем. Он мог простить грешницу. Он мог исцелить в субботу. Он был неуправляем.

А системе нужны были управляемые.

Я наткнулась на еще один документ, касающийся «чисток» внутри самой РПЦ. История священника, которого лишили сана за отказ читать «молитву о победе». Формально его обвинили в политической неблагонадежности. Но механизм запуска репрессий был чисто «сектоведческим».

Его обвинили в том, что он попал под влияние «либеральной идеологии», которая, по мнению экспертов РАЦИРС, тоже является своего рода сектой. Любая мысль, не совпадающая с циркуляром из патриархии, объявлялась результатом «зомбирования».

Если ты за мир — ты сектант. Если ты против коррупции — ты сектант. Если ты задаешь вопросы о том, куда идут церковные деньги — ты агент влияния.

Идеология «сектоборчества» стала универсальной дубинкой. Ею били чужих, ею же дисциплинировали своих.

Я представила себе атмосферу в семинариях. Молодые ребята, пришедшие служить Богу, с первого курса попадают под этот пресс. Им объясняют: главное — не молитва, главное — бдительность. Враг не дремлет. Враг везде. В соседней келье может сидеть агент «психокульта». Твой преподаватель может быть тайным либералом. Следи. Докладывай. Спасай Церковь.

Так выращивали новое поколение «агентов в рясах». Им уже не нужны были кураторы из КГБ. У них был «внутренний Дворкин» в голове.

Вечером я нашла в сети скан старой газеты «Известия» за 1992 год. Статья называлась «Вечный раб ЧК». В ней священник Вячеслав Полосин комментировал архивы КГБ.

«Не столько КГБ платил агентам, сколько сами агенты “давали” руководству 4-го отдела за устройство своих личных карьерных дел...»

Карьера. Вот ключевое слово. Борьба с сектами стала социальным лифтом. Хочешь получить хороший приход? Хочешь награду? Хочешь, чтобы тебя заметил архиерей? Найди секту. Разоблачи врага. Организуй пикет у дома молитвы баптистов. Напиши статью о том, как йога разрушает русскую душу.

Это был бизнес-план.

Я смотрела на фотографию Дворкина в окружении людей в рясах. Они смотрели на него с подбострастием. Он, мирянин, человек без сана, фактически управлял умами епископов. Почему? Потому что он держал в руках ключи от страха. Он был экспертом по угрозам. А в мире, где все боятся (потерять власть, деньги, статус), продавец безопасности становится королем.

Методы, которые внедрил Дворкин — сбор досье, провокации, использование компромата, — были классикой спецслужб. Не богословия, а именно разведки. Он превратил церковную ограду в колючую проволоку.

Я вспомнила слова отца Андрея: «Им не нужны еретики. Им нужны нелояльные».

В папке, которую он мне передал, лежал листок, вырванный из блокнота. На нем от руки была нарисована схема. В центре — кружок с надписью «Патриархия». Вокруг — кольцо с надписью «РАЦИРС». А от этого кольца шли стрелки к квадратикам: «МВД», «ФСБ», «Прокуратура», «СМИ».

Это была схема захвата. Рейдерского захвата Церкви.

Те, кто называл себя защитниками веры, на самом деле взяли веру в заложники. Они построили вокруг Христа концлагерь, поставили на вышках пулеметы и сказали: «Мы охраняем Его от врагов». Но на самом деле они охраняли себя от Него.

Потому что если Христос выйдет из этого лагеря, если Его голос зазвучит в полную силу — без цензуры РАЦИРС, без комментариев Новопашина, — то вся их конструкция рухнет. Их власть, построенная на страхе и ненависти, рассыплется в прах.

Я подошла к окну. Ночь была темной, беззвездной. В доме напротив горело одно окно. На балконе сушилось белье. Простыни, рубашки. Обычная жизнь.

Я подумала о том, что где-то сейчас сидит человек — может быть, его зовут Вася, а может быть, отец Сергей — и смотрит на этот балкон. И записывает в свой отчет: «Объект проявляет признаки...».

Мне стало страшно. Не за себя. За ту Церковь, которую я помнила с детства. Церковь бабушки, пахнущую воском и утешением. Эта Церковь все еще была — но рядом с ней выросло нечто другое: аппарат, который умел говорить словами веры, а действовать — методами страха.

На столе лежал распечатанный скриншот переписки. Тот самый «метод Васи».

*«Вася: А правда, что ваш настоятель против войны? Я вот тоже сомневаюсь...
Священник N: Брат, нам всем тяжело. Но мы молимся о мире. Христос есть мир. Вася:
Спасибо, отче. Я вас понял».*

Через неделю к священнику N пришли с обыском. А потом лишили сана.

«Я вас понял».

Это была эпитафия. Короткая, циничная фраза, которой заканчивалась жизнь человека в системе.

Я убрала документы в тайник. Теперь я знала, что враг не снаружи. Враг внутри. И он носит крест. Но на этом кресте распят не Христос. На нем распята совесть.

Завтра мне предстояло погрузиться в то, как этот яд транслируется наружу. Как они заставляют миллионы людей верить в то, что черное — это белое, а ненависть — это высшая форма любви.

Глава 10: Индустрия страха

Экран ноутбука мерцал холодным, мертвенным светом, единственным источником освещения в моей квартире на Соколе. На часах было три ночи, но сон не шел. Передо мной, разложенный на временной шкале видеоредактора, лежал анатомический атлас лжи.

Я не просто смотрела телевизионные репортажи. Я их препарировала. Как профессиональный редактор, я знала, что правда живет в сырых исходниках, а ложь рождается на монтажном столе. За последние сутки я скачала десятки гигабайт «специальных расследований», вышедших на федеральных каналах за последние пять лет. Все они были посвящены «сектантской угрозе». И все они, при ближайшем рассмотрении, оказались сняты по одному и тому же сценарию, словно их штамповали на конвейере где-то в подвалах Останкино по лекалам, утвержденным в РАЦИРС.

Я нажала на пробел. Видео замерло на 14-й секунде. Это был репортаж о небольшой общине христиан-евангелистов в Туле. Кадр был выстроен мастерски.

Камера снимала снизу вверх, используя широкоугольный объектив, так называемый «рыбий глаз». Этот прием, известный в киноиндустрии как «голландский угол», искажал пропорции. Лица верующих, поющих псалмы, растягивались, превращаясь в гротескные маски. Обычная улыбка становилась оскалом, поднятые в молитве руки напоминали когти хищных птиц.

Я отключила видеодорожку и оставила только звук. Это было самым показательным тестом.

Если закрыть глаза и слушать только аудиоряд, можно было подумать, что смотришь низкобюджетный хоррор. Фоном шел низкочастотный гул, который почти не слышен ухом, но вызывает у зрителя безотчетное чувство тревоги, физический дискомфорт в желудке. Поверх него накладывались резкие, скрежещущие звуки скрипки, имитирующие крик.

Это не была журналистика. Звукорежиссер намеренно создавал атмосферу паники. Когда в кадре появлялся пастор — пожилой мужчина в очках, — звук слегка замедлялся, делая его голос тягучим, низким, угрожающим. Когда камеру переводили на «эксперта» (молодого человека из местного миссионерского отдела), музыка менялась на героическую, мажорную, с уверенными духовыми инструментами.

Я выписала тайм-коды в блокнот.

02:15. Цветокоррекция. Я приблизила кадр. Исходное видео явно было снято при нормальном дневном свете. Но на постпродакшн на него наложили тяжелый сине-зеленый фильтр. Цвета стали грязными, болезненными. Кожа людей приобрела землистый оттенок, словно они все страдали тяжелым заболеванием печени или были живыми мертвецами. Солнечный свет за окном молитвенного дома был искусственно затемнен, создавая ощущение подполья.

Это была технология визуального расчеловечивания. Зрителю на подсознательном уровне внушали: здесь нет жизни. Здесь только гниль, болезнь, смерть.

Я вспомнила термин «накотизирующая дисфункция», введенный социологами Лазарсфельдом и Мертоном. СМИ создают такой плотный поток негативной информации, что зритель перестает анализировать. Он впадает в ступор. Ему показывают монстров, и он верит, потому что его мозг, перегруженный страхом, отключает критическое мышление и требует только одного: «Защитите меня!».

И тут на экране появлялся «защитник».

В этом конкретном репортаже роль спасителя играл корреспондент. Он врывается в помещение вместе с оператором, тыча микрофоном в лица растерянных людей.

— Зачем вы зомбируете детей? — кричал он женщине, которая прижимала к себе испуганную девочку. — Сколько денег вы выкачиваете из пенсионеров?

Женщина молчала, пытаясь закрыть лицо рукой.

Закадровый голос тут же интерпретировал это молчание: «Адепты отказываются отвечать на неудобные вопросы. Их молчание — знак согласия с обвинениями. Психологи утверждают, что так ведут себя люди с подавленной волей».

Я знала этот прием. Жертву ставят в ситуацию, где любой ответ будет использован против нее. Если она начнет спорить — она агрессивна. Если молчит — ей есть что скрывать. Если улыбается — она неадекватна.

Но самое интересное началось дальше. Я открыла папку с файлами по делу «Семьи Света» — реабилитационного центра под Екатеринбургом, разгромленного год назад. У меня на руках была хронология событий. Она идеально иллюстрировала механизм «артиллерийской подготовки».

12 октября. В местной газете выходит статья с заголовком «Концлагерь для наркоманов: что скрывается за высоким забором?». В тексте нет ни одного факта, только слухи и комментарии анонимных соседей, которые «слышали странные звуки».

14 октября. На региональном телеканале выходит сюжет. В нем выступает «бывший реабилитант» Алексей. Он сидит спиной к камере, голос изменен. Он рассказывает чудовищные вещи: их били, морили голодом, заставляли молиться портрету лидера.

15 октября, 06:00 утра. Штурм. СОБР выпиливает ворота. Людей кладут лицом в снег.

Я нашла исходник этого сюжета с «Алексеем». Мне удалось достать его через знакомых монтажеров на региональном ТВ. Это был рабочий материал, без блюра и изменения голоса.

Я смотрела на лицо «жертвы». Парень лет двадцати пяти, с бегающими глазами. Он читал по бумажке.

— Они использовали... — он запнулся, посмотрел куда-то за камеру. — Как это слово?

Голос за кадром (женский, властный) подсказал: — Депривация сна.

— Да, депривацию сна, — повторил парень. — И еще этот... лав-бомбинг. Бомбардировку любовью.

Я нажала на стоп.

Наркоман, проходящий реабилитацию, вряд ли знает термин «депривация сна». И уж точно не использует в разговорной речи кальку с английского «love bombing» — специфический термин, любимый западными антикультистами и переведенный в методичках Дворкина. Этот парень не рассказывал свою историю. Он озвучивал текст, написанный для него консультантами из РАЦИРС.

Я начала искать информацию об этом Алексее. Через два часа поисков по соцсетям я нашла его профиль. Оказалось, что за месяц до интервью он был задержан за кражу. Ему грозил реальный срок. А через неделю после выхода сюжета дело было закрыто «за примирением сторон». Вот она, валюта этой индустрии. Свобода в обмен на ложь.

Антикультовые центры создали целый штат таких «профессиональных потерпевших». Апостатов. Людей, которые по разным причинам (обида, деньги, шантаж со стороны полиции) готовы сказать на камеру все, что угодно. Их инструктируют, как правильно плакать, какие слова использовать. Их учат изображать «жертв психологического насилия».

В одном из документальных фильмов я увидела интервью с женщиной, которая утверждала, что ее дочь «забрали в секту». Она рыдала, заламывала руки.

— Она стала другой! — кричала мать. — Она не ест мясо! Она выбросила телевизор! Она говорит о Боге! Верните мне мою дочь!

Камера крупно показывала слезы матери. Зритель должен был сочувствовать ей. Это безусловный рефлекс: плачущая мать — это святое.

Но чего не показал репортаж? Я нашла блог той самой дочери. Девушка писала о том, как она ушла из дома, потому что отчим пил и бил ее, а мать закрывала на это глаза. Она нашла приют в общине кришнаитов, где ее накормили, дали одежду и, главное, безопасность. «Не ест мясо» и «выбросила телевизор» — это был ее выбор здоровой жизни, а не результат зомбирования.

Но в медийной реальности, сконструированной «сектоборцами», контекст вырезается хирургическими ножницами монтажера. Остается только голая эмоция: «Секта украла ребенка».

Я составила схему типичного сюжета. Она была неизменна, как канон классицизма.

- Завязка (Хоррор): Тревожная музыка, кадры «странных ритуалов» (обычно вырванные из контекста танцы или громкая молитва), закадровый голос нагнетает ужас.
- Жертва (Драма): Плачущая мать или «спасенный» апостат рассказывают о потерянных квартирах и сломанной психике.
- Штурм (Экшн): Героический спецназ ломает двери. Зритель испытывает удовлетворение: зло наказано.
- Эксперт (Вердикт): В кадре появляется человек в костюме, подписанный как «религиовед» или «психолог». Он произносит ключевые слова-триггеры: «тоталитарная секта», «угроза национальной безопасности», «иностранные кураторы».

Я обратила внимание на одну деталь. В этих сюжетах никогда, ни при каких обстоятельствах не показывали социальную деятельность общин.

Если пятидесятники кормили бездомных — это вырезали. Или комментировали так: «Вербовка через тарелку супа». Если баптисты помогали алкозависимым — это называли «незаконной медицинской деятельностью» и «рабским трудом». Если кришнаиты раздавали печенье — закадровый голос намекал, что в еду подмешаны психотропные вещества.

Любое добро было перекодировано во зло. Это была тотальная инверсия смыслов.

Я вспомнила цитату из Гегеля, которую встретила в одном из источников: «История учит лишь тому, что она ничему не учит». Мы видели это в Уэйко, в США. Там медийная

кампания по демонизации «Ветви Давидовой» длилась месяцами. Газеты писали о «складах оружия» и «насилии над детьми». Когда танки ФБР пошли на штурм и начался пожар, в котором сгорели заживо десятки людей, включая детей, американское общество поначалу аплодировало. Им объяснили, что это были монстры.

Российские медиа использовали тот же сценарий. Они готовили общество к тому, что насилие — это норма. Что если завтра начнут сжигать молитвенные дома — это будет актом очищения. Я нашла запись эфира, где ведущий ток-шоу, брызжа слюной, кричал:

— Этих паразитов надо выжигать каленым железом!

Зал аплодировал.

Термин «террор» изначально означал страх, который внушали толпе публичные казни. Гильотина работала не столько для того, чтобы убить преступника, сколько для того, чтобы парализовать волю зрителей. Современные телерепортажи — это цифровая гильотина.

Когда показывают, как ОМОН укладывает лицом в пол мирных верующих, послание адресовано не им. Послание адресовано мне. Соседу. Зрителю с пивом на диване. «Смотри, что будет, если ты будешь отличаться. Смотри, как легко мы можем ворваться в твой дом. Твоя дверь не защита. Твоя вера не защита. Единственная защита — быть как все. Быть серым. Быть лояльным».

Я посмотрела на дату одного из файлов. Репортаж о «вредной секте» вышел за два дня до судебного заседания, на котором эту организацию запретили.

Это не было совпадением. Это было давление на суд. Судья тоже смотрит телевизор. Судья тоже человек. Если из каждого утюга говорят, что подсудимые — монстры, убивающие детей, рука не дрогнет подписать обвинительный приговор, даже если в материалах дела нет ни одного доказательства вины. Медиа создавали презумпцию виновности.

Я открыла еще один файл. Это была запись лекции Александра Дворкина. Он стоял перед аудиторией студентов журфака. Будущих создателей смыслового поля.

— Ваша задача, — говорил он, поправляя очки, — не давать трибуну сектантам. Сектант всегда лжет. У него нет своей воли, он транслирует программу лидера. Поэтому

журналистская этика к ним неприменима. Вы не обязаны выслушивать вторую сторону, если вторая сторона — преступник.

Он учил их не журналистике. Он учил их пропаганде. Он давал им индульгенцию на ложь. «Этика неприменима».

Я представила этих студентов. Молодые, амбициозные. Они выходят из университета с убеждением, что есть люди «второго сорта», которых можно и нужно травить. Они приходят на телеканалы и начинают монтировать сюжеты, накладывая зеленые фильтры на лица матерей и звуки скрежета на молитвы. Они не чувствуют угрызений совести.

Индустрия страха работала безупречно. Она была самовоспроизводящейся. Центры РАЦИРС поставляли «экспертов» и «пострадавших». СМИ упаковывали это в яркую, пугающую обертку хоррора. Общество, напуганное до смерти, требовало «принять меры». Полиция проводила рейды, создавая новую картинку для СМИ.

Я нашла документ, который стал последним гвоздем в этой конструкции. Это было письмо о взаимодействии между одним из федеральных каналов и «Центром религиозных исследований». В пункте 3.2 значилось: «Стороны обязуются согласовывать терминологию и список экспертов для освещения религиозной тематики». Цензура была контрактной. Журналисты добровольно отдали право называть вещи своими именами в руки частной организации, возглавляемой человеком с американским прошлым и сомнительным образованием.

Я закрыла видеоредактор. Глаза болели от напряжения. В ушах все еще стоял тот самый инфразвуковой гул из репортажа.

Я подошла к окну. Рассвет над Москвой был серым, мутным, словно кто-то наложил на город тот самый фильтр из телевизора. Внизу, у подъезда, стояла машина. Обычный тонированный микроавтобус. Раньше я бы не обратила на него внимания. Но теперь мой мозг, натренированный часами просмотра оперативных съемок, сработал автоматически. «Форд Транзит». Без опознавательных знаков. Такие часто используют группы наружного наблюдения или группы захвата перед штурмом.

Я почувствовала, как холодный пот течет по спине. Паранойя? Или профессиональная деформация? А может быть, реальность? Я знала, что они делают

перед рейдом. Они запускают «волну». Я схватила телефон и открыла новостную ленту. Пролистала местные паблики района Сокол. И нашла.

Пост, опубликованный два часа назад в популярной группе «Подслушано Сокол». Анонимный автор писал: *«Соседи, будьте бдительны! В нашем районе завелась секта. Собираются на квартирах, поют странные песни, заманивают детей конфетами. Говорят, у них там американские кураторы. Кто знает адреса — пишите в личку админу, будем передавать куда следует».*

Под постом уже были десятки комментариев. «Гнать их!» «Адрес в студию!» «У меня соседка странная, может, это она?»

Механизм был запущен. Артиллерийская подготовка началась. И целью на этот раз была не абстрактная община в Туле. Целью был кто-то рядом. Возможно, даже я. Ведь я тоже «странная». Живу одна, ни с кем не общаюсь, по ночам сижу за компьютером. Идеальный портрет врага. Я посмотрела на микроавтобус внизу. Дверь водителя приоткрылась, и на асфальт упал окурок. Красная точка тлела в серости утра, как единственный живой огонь в этом замерзшем, напуганном мире.

Индустрия страха не спит. Она работает круглосуточно, перемалывая реальность в фарш из ненависти и пикселей. И сейчас, глядя на этот тлеющий окурок, я поняла, что самое страшное оружие — это не автомат Калашникова. Самое страшное оружие — это монтажная склейка, которая превращает человека в мишень.

Я отошла от окна, задернула шторы и выключила свет. В темноте комнаты мигал только светодиод на жестком диске, где хранились терабайты доказательств того, как мою страну научили бояться собственной тени. Но удалять их я не стала. Потому что если кто-то и должен бояться, то это не мы. А те, кто боится правды настолько, что вынужден прятать ее за зелеными фильтрами и закадровым воем сирен.

На столе завибрировал телефон. Пришло уведомление. Не от Кирилла. От неизвестного номера. Там была всего одна ссылка. На видеохостинг. Я нажала. Видео называлось «Журналистка продана сектантам? Расследование». На превью было мое лицо. Снятое скрытой камерой в кафе, где я встречалась с отцом Андреем. И тот самый зеленый фильтр.

Шоу начиналось. И я была в главной роли.

Глава 11: Зеркало Дориана Грея

На столе передо мной лежала книга. Толстый том в твердом переплете, с глянцевой обложкой, на которой зловещие тени тянулись к беззащитным фигуркам людей. «Сектоведение. Тоталитарные секты». Библия современной российской инквизиции.

За окном занимался серый, промозглый рассвет. Москва просыпалась неохотно, словно больной после тяжелого наркоза. Я не спала уже вторые сутки. Кофе в чашке давно остыл и покрылся неприятной маслянистой пленкой, но я не замечала этого. Я была поглощена экспериментом, который, как мне казалось, должен был стать ключом к пониманию всего происходящего.

В психологии есть понятие проекции. Это защитный механизм, при котором человек приписывает окружающим свои собственные подавленные желания, страхи и пороки. Вор уверен, что все вокруг крадут. Лжец убежден, что ему все врут. Тиран видит в каждом встречном потенциального узурпатора.

Я решила проверить гипотезу: а что, если Александр Дворкин, описывая ужасы «тоталитарных сект», на самом деле описывал свое собственное детище? Что, если эта книга — не научный труд и даже не публицистика, а бессознательная автобиография?

Я открыла главу с признаками тоталитарной секты. Дворкин сформулировал их четко. Я взяла чистый лист бумаги, разделила его на две колонки. Слева я выписывала критерий из книги. Справа — факты о деятельности РАЦИРС (Российской ассоциации центров изучения религий и сект) и Центра святого Иринейя Лионского.

Чем дальше я продвигалась, тем отчетливее становилось ощущение, что я смотрю в зеркало. Но это было не обычное зеркало. Это был портрет Дориана Грея. Дворкин и его соратники, сами того не ведая, создали организацию, которая являлась идеальным, эталонным воплощением того самого зла, с которым они якобы боролись.

Критерий первый: Гуруизм и непогрешимость лидера.

Дворкин пишет: *«В тоталитарной секте лидер обладает абсолютным авторитетом. Его слово — закон. Критика лидера приравнивается к бунту против Бога. Лидер находится вне критики и вне контроля».*

Я посмотрела на структуру РАЦИРС. Формально это общественная организация. Но фактически это жесткая вертикаль, замкнутая на одного человека. Александр Леонидович Дворкин. Человек, не имеющий профильного религиоведческого образования, признанного российской академической наукой (его степень PhD получена в США, а в России он так и не защитил диссертацию по стандартам ВАК), тем не менее, позиционирует себя как высшую инстанцию.

Он судит всех. Он решает, кто православный, а кто нет. Он выносит вердикты священникам, епископам, богословам. Я вспомнила историю отца Анатолия Гармаева. Уважаемый священник, педагог, автор книг. Он позволил себе иметь мнение, отличное от «генеральной линии» сектоборцев. И что произошло? Система сработала мгновенно.

На конференции в Свято-Тихоновском университете протоиерей Дмитрий Смирнов, верный соратник Дворкина, заявил: *«В книге нет ни одного конструктивного слова, нет ничего положительного. Мой совет — изъять тираж и сжечь. Это будет правильно».*

«Сжечь». В XXI веке.

Дворкин тут же подхватил: *«У автора книги оккультная парадигма мышления».*

Никакой дискуссии. Никакого богословского спора. Просто ярлык: «оккультист». И призыв к уничтожению книг. Это было классическое поведение гуру, который уничтожает конкурента. Гармаева обвинили в создании «внутрицерковной секты», в «культе личности». Но ирония заключалась в том, что обвинители сами демонстрировали абсолютный культ личности Дворкина. Никто из его окружения не смел возразить ему. Его книги цитировались как Священное Писание. Его мнение было окончательным.

Я записала в правой колонке: *«Абсолютная власть лидера. Нетерпимость к инакомыслию. Публичные казни (репутационные) отступников».*

Критерий второй: Эзотерический разрыв и «новояз».

Дворкин отмечает, что в некоторых культах формируется «сектантский новояз», секты используют специальный язык, понятный только посвященным, чтобы отделить «своих» от «чужих». Они подменяют общепринятые понятия своими собственными.

Я усмехнулась. А разве сам термин «тоталитарная секта» — это не новояз? Этот термин был введен Дворкиным в 1993 году. Его нет в римском праве, его нет в классической социологии религии. Это искусственный конструкт, ярлык-фантом. Но этот ярлык стал паролем для «своих». Если ты используешь термин «тоталитарная секта» — ты свой, ты в системе. Если ты говоришь «новое религиозное движение» (как принято в науке) — ты враг, либерал, пособник сектантства.

Они создали свой словарь. «Психокульт», «деструктивное образование», «духовная безопасность». Эти слова не имеют юридического смысла, но они имеют колоссальную эмоциональную нагрузку. Они служат маркерами «свой-чужой». Более того, внутри самой организации существует разделение на «внешний круг» (обычные верующие, которых пугают страшилками) и «внутренний круг» (оперативники РАЦИРС, знающие реальное положение дел).

Для внешних они говорят о «спасении душ». Для внутренних существует другая этика. Этика войны.

Я нашла цитату Виталия Питанова, одного из видных деятелей антикультового движения, опубликованную в его статье:

«На секты нужно собирать компромат и его распространять! Хочу заметить, что этот подход без труда можно использовать против кого угодно — против православных мирян, священников и даже церковных иерархов. Мы живём в прозрачном обществе, и при желании компромат можно найти на кого угодно или же его придумать».

Я перечитала последние слова. *«Или же его придумать».* Вот она, эзотерическая доктрина. Для толпы — красивые слова о правде и Христе. Для посвященных — разрешение на ложь, фальсификацию и клевету. «Цель оправдывает средства».

Дворкин в своей книге обвиняет секты в «двойной морали». Он пишет: *«Если их члены уверены, что цель... “праведна”, они не остановятся перед тем, чтобы солгать,*

украсть... оклеветать должностных лиц... По существу, мы имеем дело с мафиозными структурами».

Это было поразительно. Он с точностью до запятой описал методы собственной организации. РАЦИРС — это и есть мафиозная структура, скованная круговой порукой, где ложь во имя «борьбы с сектами» считается доблестью.

Я записала: *«Двойная мораль. Легитимизация лжи. Использование специальной терминологии для манипуляции сознанием».*

Критерий третий: Финансовая непрозрачность и эксплуатация.

Любимый тезис сектоборцев: «Секты — это коммерческие предприятия, выкачивающие деньги из адептов». Они любят считать чужие десятины, рассказывать о богатствах пасторов.

А что с финансами самих борцов? Центр Ирины Лионского, РАЦИРС, десятки региональных отделений. Откуда деньги? На сайте нет прозрачных отчетов. Гранты? Пожертвования?

Я вспомнила свои изыскания по FECRIS. Французское правительство финансирует головную организацию. Значит, часть этих денег, в виде командировочных, грантов на конференции, оплаты перелетов, попадает и к российским функционерам. Но есть и другой источник. «Коммерческое сектоведение». Заказные кампании против конкурентов. Экспертизы за деньги. «Реабилитация» за огромные суммы. Родители, напуганные тем, что их ребенок попал в «секту», готовы платить любые деньги «специалистам» за «вывод из культа». И эти специалисты, не имеющие дипломов психологов, берут эти деньги.

Они создали рынок услуг по «депрограммированию». И этот рынок абсолютно черный. Никаких чеков, никаких договоров. Только страх и наличные.

В своей риторике они часто сравнивают секты с «раковой опухолью». Я нашла цитату Дворкина от 2006 года: *«Это, конечно, чудовищно [об открытии Церкви Саентологии в Москве]. ... это такой будет центр раковой опухоли... Поэтому нужно сделать всё возможное, чтобы этого не допустить».*

Но если следовать этой медицинской метафоре, то сами сектоборцы ведут себя как недобросовестные онкологи, которые ставят ложный диагноз «рак» здоровому человеку, чтобы назначить ему дорогостоящую и калечащую химиотерапию.

Они паразитируют на теле общества, высасывая ресурсы — бюджетные гранты, церковные деньги, средства напуганных родственников — под предлогом борьбы с несуществующей эпидемией.

Я записала: *«Финансовая непрозрачность. Паразитирование на страхе. Коммерциализация “спасения”».*

Критерий четвертый: Контроль сознания и фобии.

Дворкин пишет, что секты запугивают своих адептов, внушают им страх перед внешним миром, говорят о заговорах и скором конце света.

Я посмотрела на материалы конференций РАЦИРС. О чем они говорят? «Духовная война». «Заговор западных спецслужб». «Сатанисты рвутся к власти». «Если мы не сплотимся вокруг лидера, нас уничтожат». Они транслируют чистейшей воды апокалиптическую истерию. Они держат свою паству (и, к сожалению, значительную часть православных верующих) в состоянии перманентного невроза. Враг везде. В йоге, в психологических тренингах, в книгах о Гарри Поттере, в прививках, в штрих-кодах.

Они создали мир, в котором страшно жить. Мир, где за каждым углом таится «вербовщик». Это классическая техника контроля сознания: создание внешней угрозы для сплочения рядов внутри. Человек, который боится, легко управляем. Ему нужен защитник. И Дворкин предлагает себя на эту роль.

«Только мы знаем, как спастись. Слушайте нас. Не читайте чужих книг. Не слушайте критиков».

Это и есть информационная изоляция. Они запрещают своей аудитории знакомиться с альтернативными точками зрения. Любая критика Дворкина объявляется «проплаченной сектантами». Любой журналист, написавший объективную статью, заносится в список врагов.

Я вспомнила профессора Кантерова, уважаемого религиоведа МГУ. Он писал: *«Не одно столетие слово “cult” встречалось лишь в лексике историков религии, теологов,*

этнографов и не выходило за рамки сугубо научных изданий... Но уже в середине 70-х гг. XX столетия этот термин начинает прочно обосновываться во всех видах массмедиа... И подавляющая часть материалов о культах имела сенсационно-обличительную направленность».

Дворкин и его команда взяли этот медийный вирус и возвели его в абсолют. Они подменили науку пропагандой. Они заставили людей верить, что «секта» — это не социологическое понятие, а синоним слова «преступление».

Критерий пятый: Структура «матрешки» и филиалы.

Дворкин описывает, как секты создают фронт-организации, скрывающие свою истинную сущность.

А что такое РАЦИРС? Это сеть. Десятки центров с разными названиями: «Гражданская безопасность», «Родительский комитет», «Центр помощи пострадавшим». Но за всеми этими вывесками скрывается одна и та же методичка, одна и та же идеология, одни и те же люди.

Они создали своих «маленьких гуру» в регионах. В Новосибирске — Новопашин. В Саратове — другой. В Туле — третий. Каждый из них копирует поведение Дворкина, требует абсолютного подчинения и ведет свою маленькую войну. Это франшиза ненависти.

Я отложила ручку. Лист был заполнен. Сходство очевидно. Организация, возглавляемая Александром Дворкиным, обладала всеми признаками тоталитарной секты, которые он сам же и сформулировал.

1. **Харизматичный лидер**, не терпящий критики (Дворкин).
2. **Эзотерическое учение** (теория заговора, «сектоведение» вместо богословия).
3. **Разделение на «мы» и «они»** (спасители России против агентов влияния).
4. **Цель оправдывает средства** (ложь, компромат, насилие).
5. **Финансовая эксплуатация** (гранты, платные услуги).
6. **Контроль информации** (запрет на инакомыслие).

Это было гениально и чудовищно одновременно. Дворкин не боролся с сектами. Он строил свою собственную Супер-Секту. Секту, которая, в отличие от маргинальных групп, получила доступ к государственному ресурсу. Секту, которая вооружилась полицейскими дубинками и прокурорскими проверками. Он стал тем драконом, которого якобы пришел убить.

Я вспомнила цитату из Ницше: «Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя».

Дворкин смотрел в бездну тридцать лет. И бездна не просто посмотрела в него. Она поселилась в нем. Она выстроила вокруг него структуру, зеркально отражающую все то, что он ненавидел.

Он ненавидел тоталитаризм? Он построил тоталитарную структуру. Он ненавидел манипуляцию? Он стал главным манипулятором страны. Он ненавидел фанатизм? Он воспитал армию фанатиков.

Я закрыла книгу. На обложке все так же тянулись черные тени. Теперь я знала, чьи это тени. Это были тени не кришнаитов и не пятидесятников. Это была тень самого автора, накрывшая собой огромную страну.

Но самое страшное было не в этом. Самое страшное было в том, что эта секта паразитировала на теле Церкви. Она использовала авторитет Православия как щит и как меч. Люди, приходившие в храм к Богу, попадали в руки политруков от сектоведения. Вместо Евангелия им давали брошюры о врагах. Вместо любви их учили ненависти. Это была подмена. Духовное рейдерство.

Я подошла к зеркалу в прихожей. Мое лицо было бледным, глаза воспаленными. Я чувствовала себя Алисой, которая прошла сквозь Зазеркалье и обнаружила, что Белый Рыцарь на самом деле — Черный Король.

Вдруг в тишине квартиры раздался резкий звук. Что-то упало в почтовый ящик.

Я вздрогнула. Время было раннее, почтальоны еще не ходят.

Я на цыпочках подошла к двери, прислушалась. На лестничной площадке было тихо. Ни шагов, ни звука лифта.

Я открыла ящик. Там лежал глянцевый журнал. Не газета, не листовка, а дорогой, полноцветный журнал. На обложке был изображен храм Христа Спасителя, а над ним — грозовые тучи, в которых угадывались очертания зловещих лиц.

Заголовок гласил: «Кто защитит нас от духовного терроризма?».

Я открыла журнал. Это был специальный выпуск, посвященный деятельности РАЦИРС. На развороте была фотография Дворкина. Он стоял на кафедре, подняв руку в указующем жесте.

Но мое внимание привлекло не это. Мое внимание привлекла статья на соседней странице. Она называлась «Пятая колонна в журналистике: кто покрывает сектантов?».

И там, среди прочих имен, я увидела свою фамилию.

Текст был коротким, но убийственным. Меня называли «агентом влияния», «пособницей деструктивных культов», намекали на мое западное прошлое (Сан-Франциско) как на доказательство работы на иностранные спецслужбы.

«Такие “журналисты”, как Елена В., используют риторику прав человека, чтобы прикрывать деятельность опасных группировок. Но мы знаем, кто стоит за их спиной. И мы не позволим им разрушать наш духовный суверенитет».

Я выронила журнал. Он шлепнулся на пол, открывшись на странице с рекламой «Реабилитационного центра». Я применила к ним их же критерии, и они ответили мне тем же. Они объявили меня сектантом.

Это была их универсальная защита. Любой, кто разоблачает секту Дворкина, автоматически объявляется членом какой-нибудь другой секты. Потому что в их картине мира нормальный человек не может быть против Дворкина. Против него может быть только враг.

Я посмотрела на свое отражение в зеркале. Теперь я была не просто наблюдателем. Я была частью их мифологии. Я была «ведьмой», на которую уже начали собирать хворост. Но страха не было. Была холодная, кристальная ясность. Я подняла журнал. На последней странице мелким шрифтом были указаны выходные данные. Тираж 50 000 экземпляров. Заказчик — «Центр религиозных исследований во имя священномученика Ириния Лионского».

Благотворительный фонд, который печатает расстрельные списки. Я вернулась в комнату и положила журнал рядом с книгой Дворкина. Два документа эпохи. Теория и практика. Теперь у меня было все. Мотив, оружие, отпечатки пальцев. Я доказала теорему: главный борец с сектами сам является лидером самой опасной секты.

Но что делать с этим доказательством в мире, где судьи читают эти самые журналы за утренним кофе?

Я подошла к окну. Солнце наконец пробилось сквозь тучи, осветив крыши домов. Но этот свет не радовал. Он лишь четче высвечивал грязь на стеклах.

Внизу, у подъезда, все так же стоял тонированный микроавтобус. И теперь я знала точно: они ждут не «сектантку». Они ждут меня. Я взяла телефон и набрала сообщение Кириллу. Только два слова: «Я — зеркало». Он поймет. А потом я сделала то, что должна была сделать давно. Я взяла книгу Дворкина и поставила ее на полку. Не к религиозной литературе. И не к публицистике. Я поставила ее в раздел «Антиутопии». Между Оруэллом и Замятиным.

Там ей было самое место. Потому что Александр Дворкин не написал учебник. Он написал сценарий, по которому теперь жила огромная страна. Сценарий, где Война — это Мир, Свобода — это Рабство, а Ненависть — это Любовь.

И Большой Брат, глядящий с обложки, был не вымыслом. Он был реальностью, имеющей конкретный адрес, ИНН и счет в банке. И он очень не любил, когда кто-то подносил к его лицу зеркало.

Глава 12: Экспорт ненависти

Карта мира на стене моей съемной квартиры, которую я купила в книжном магазине на Тверской, была расчерчена красными линиями. Если раньше, в начале моего расследования, эти линии соединяли московские кабинеты с провинциальными епархиями, а затем тянулись в Париж и Брюссель, то теперь география зла расширилась

до пугающих масштабов. Я смотрела на Евразийский континент и видела не страны, а зоны заражения.

Я думала, что изучаю маргинальную группу фанатиков, захвативших власть внутри одной религиозной структуры. Я ошибалась. Я изучала чертежи нового мирового порядка. На столе лежал жесткий диск с архивом материалов международных конференций, которые Александр Дворкин и его соратники посещали или организовывали за последние десять лет. Я открыла папку с названием «Китай».

Это казалось абсурдом. Оксюмороном. Антикультовые активисты, называющие себя защитниками христианства, едут в страну, где официально правит атеистическая коммунистическая партия, где государство годами усиливает контроль над церквями, а в отдельных регионах проходили кампании по снятию крестов с храмов. Едут туда, где под лозунгом «синизации» религии предлагается не столько читать Писание, сколько читать его «правильно» — в рамках партийной идеологии, через утвержденные толкования и комментарии. Зачем? О чем могут говорить люди, целующие иконы новомучеников, пострадавших от большевиков, с идейными наследниками этих самых большевиков?

Ответ был прост и циничен: обмен опытом репрессий.

Я читала отчеты о визитах делегации РАЦИРС в Пекин и ответных визитах представителей Китайской антикультовой ассоциации в Москву. Тональность этих документов была восторженной. Российские «сектоведы» восхищались китайской эффективностью.

Главной темой этих встреч был Фалуньгун. В Китае это движение, основанное на дыхательной гимнастике цигун, было объявлено «еретическим культом» и подверглось тотальному уничтожению. Я знала, что стоит за этими сухими строчками: концлагеря, пытки электричеством, чудовищные свидетельства о принудительном изъятии органов у живых заключенных. Эти факты вызывали международную реакцию. Европарламент принимал резолюции, ООН выражала озабоченность. А Александр Дворкин жал руки китайским чиновникам и называл их методы «примером ответственной государственной политики».

Я нашла стенограмму его выступления на форуме в Тяньцзине. Он говорил о том, что Фалуньгун — это угроза не только для Китая, но и для России. Он фактически

легитимизировал государственный террор Пекина в глазах российской православной общественности.

— Посмотрите, — словно говорил он своим слушателям в России, — даже великий Китай понимает опасность сект. Мы должны учиться у них твердости.

Это был экспорт ненависти. Россия поставляла идеологическое обоснование (псевдорелигиозную риторику), а Китай демонстрировал практические методы физического устранения. Это был симбиоз двух тоталитарных систем, нашедших общий язык на почве нетерпимости к инакомыслию.

Но Китай был лишь восточным флангом. Главный удар, как я теперь понимала, готовился на Западе.

Я переключилась на папку «Украина».

Здесь хронология была еще более зловещей. Я отмотала время назад, в 2004 и 2013 годы. В периоды, предшествовавшие обоим Майданам.

В официальной российской пропаганде принято говорить, что украинские протесты были организованы Госдепом США. В публикациях, связанных с РАЦИРС и антисектантской повесткой тех лет, настойчиво продвигалась версия о «сектантском следе» в украинской политике.

Версию о «сектантском заговоре».

Я читала статьи и доклады тех лет. В них утверждалось, что движущей силой украинского сопротивления являются не граждане, недовольные коррупцией, а «нетрадиционные религиозные группы». Греко-католиков называли «боевым отрядом Ватикана». Протестантов, которых в Украине традиционно много и которые занимают активную социальную позицию, клеймили как «агентов влияния харизматов». Даже Арсения Яценюка в этих текстах настойчиво связывали с саентологией, хотя никаких реальных доказательств этому не приводилось.

Это была классическая дегуманизация противника.

Если твой оппонент — политик, с ним можно спорить. Если он гражданин, с ним можно договариваться. Но если он «сектант», «зомби», «марионетка деструктивного культа» — с ним нельзя говорить. Его можно только «депрограммировать» или уничтожить.

Любой, кто не вписывался в концепцию «Русского мира», объявлялся сектантом. Я вспомнила термин «десатанизация», который внезапно всплыл в новостных сводках уже после начала полномасштабного конфликта. Сначала это казалось бредом, оговоркой какого-то ретивого генерала. Но, изучая архивы Дворкина, я поняла: это не импровизация. Это термин, который выковывался в антикультовых кузницах десятилетиями. Они готовили эту войну не на полигонах, а на кафедрах.

В их картине мира Украина была не просто соседним государством. Она была «канонической территорией», которая оказалась «заражена» духовным вирусом Запада. И этот вирус, по их логике, распространялся через «секты». Следовательно, война превращалась не в захват территорий, а в «хирургическую операцию» по удалению опухолей.

Я нашла запись выступления протоиерея Дмитрия Смирнова на антисектантской конференции «Тоталитарные секты — угроза XXI века» (Нижний Новгород, апрель 2001 года). Он говорил о «нормальном имперском сознании» русского человека, а затем добавлял:

— Мы привыкли, что Россия большая, Россия сильная... что у нас полно ядерных кнопок, что вообще мир можем уничтожить... Но у нас нет теперь таких людей, у которых хватит мужества, чтобы нажать эти кнопки. Народ измельчал духовно.

Я переслушала этот фрагмент. Священник, служитель Бога Живого, сокрушался о том, что у людей не хватает «мужества» начать ядерный апокалипсис. И называл готовность уничтожить мир признаком «духовной силы». Это была теология смерти.

Антикультизм трансформировался в идеологию глобальной войны. «Сектой» в их понимании перестала быть группа людей, поющих псалмы в подвале. «Сектой» стала вся западная цивилизация.

Я открыла файл с аналитической запиской, подготовленной одним из экспертов РАЦИРС для силовых структур. Текст был пропитан паранойей. Автор утверждал, что демократия, права человека, толерантность — это инструменты «глобального деструктивного культа», цель которого — уничтожение «Святой Руси». В этой логике любое требование соблюдения закона становилось «сектантской диверсией». Любая критика власти — «беснованием».

Я вспомнила историческую параллель, которую нащупала в предыдущих главах. Вальтер Кюннет и его «Апологетический центр» в нацистской Германии. Тогда, в 30-е годы, они тоже начинали с малого — со списков «нетрадиционных» групп. А закончили тем, что объявили «мировое еврейство» и «большевизм» метафизическим злом, подлежащим искоренению. Дворкин и его команда повторили этот путь шаг в шаг.

Сначала они тренировались на «Свидетелях Иеговы», объявляя их экстремистами за отказ брать в руки оружие. Общество промолчало, решив, что это «внутренние разборки». Потом они переключились на пятидесятников и баптистов, называя их «агентами ЦРУ». А потом, когда механизм расчеловечивания был отлажен, они применили его к целому народу.

Я смотрела на кадры новостей. Разрушенные дома, беженцы, горе. И за каждым выстрелом, за каждой ракетой стояла невидимая тень «эксперта-религиоведа», который своей антикультовой деятельностью, внушил обществу, что перед ним не человек, а носитель чуждой, враждебной духовности.

«Денацификация», о которой говорили с экранов, на языке Дворкина означала «десектантизацию». То есть — зачистку религиозного поля. Уничтожение конкуренции. Установление монополии на истину силой оружия.

При этом они умудрялись обвинять в нацизме своих жертв. Это был прием «зеркального обвинения», доведенный до совершенства. Нацисты, захватившие власть над умами, кричали «Держи нациста!», указывая на еврея, украинца или либерала. Я почувствовала, как к горлу подступает тошнота. Это было не просто лицемерие. Это была шизофрения, возведенная в ранг государственной политики.

В одной из папок я нашла переписку, касающуюся законопроектов. Оказывается, «Дивеевское братство» — неформальная группа влияния, стоящая за спиной многих антикультистов, — пыталась продвигать свои законы не только в России, но и в Украине, и даже в Европе. Они действовали как спрут, пытаясь везде, где возможно, ограничить религиозную свободу, подрывая демократические институты изнутри. Их целью была не защита веры. Их целью была власть. Абсолютная, тоталитарная власть, не ограниченная ни законом, ни моралью.

Я подошла к окну. Москва за стеклом казалась декорацией к антиутопии. Огромные экраны на зданиях транслировали патриотические лозунги. Но теперь я видела в них другой смысл.

«Мы — русские, с нами Бог».

В устах этих людей эта фраза звучала не как молитва, а как угроза. «С нами Бог» означало: «Мы приватизировали Бога. Он теперь наш штатный сотрудник. И Он благословляет все, что мы делаем». Это было величайшее кощунство.

Я вспомнила бабушку. Ее тихую веру, в которой не было врагов. Если бы она была жива, она бы ужаснулась. Она бы не узнала свою Церковь. Потому что в этой новой, воинствующей «церкви» Дворкина и Смирнова не было места для Христа. Он был бы там чужим. Его бы первым объявили «пацифистом», «либералом» и «агентом влияния». Его бы распяли снова, но на этот раз не римские легионеры, а православные активисты с благословения «экспертного совета». Я вернулась к столу. Мне нужно было закончить анализ китайского вектора.

В документах упоминалось, что опыт Китая по созданию «социального рейтинга» и тотального цифрового контроля вызывает живой интерес у российских «сектоборцев». Они мечтали о такой же системе. О мире, где каждый шаг верующего отслеживается камерами, где за посещение «неправильного» собрания списываются баллы лояльности, где человек может быть вычеркнут из жизни нажатием кнопки.

«Духовная безопасность» в их понимании означала цифровой концлагерь.

Украинский религиовед Людмила Филипович в 2020 году, комментируя конкретную законодательную инициативу, говорила: «...я вижу здесь — не будучи адептом теории заговора — явную “руку Москвы” ... ведь в России подобные меры пытались продвинуть, чтобы запретить существование всех религий, кроме Московского патриархата»

Тогда ее слова казались преувеличением. Теперь они звучали как пророчество. Война началась не с танков. Война началась с того момента, когда в общественное сознание была внедрена мысль: «Есть правильные верующие, а есть биомусор».

Я посмотрела на экран. Там была открыта фотография с конференции. Зал, полный людей в дорогих костюмах и рясах. Они аплодируют. На трибуне — человек, который

говорит о том, что мир лежит во зле, и только они знают путь к спасению. Это была секта. Самая страшная секта в истории. Секта, которая захватила государство. Их идеология была вирусом. Вирусом, который поражал способность к эмпатии. Человек, зараженный этим вирусом, переставал видеть в другом человеке брата. Он видел мишень.

Я закрыла ноутбук. Гул кулера стих, и в комнате повисла тишина. Но в этой тишине мне слышался гул другой — гул турбин самолетов, несущих смерть, гул пропагандистских ток-шоу, гул ненависти, разлитой в воздухе. Я поняла, что мое расследование вышло за рамки журналистики. Я свидетельствовала о преступлении против человечности. О том, как слово было превращено в оружие массового поражения.

Я взяла ручку и написала на листе бумаги только одно слово: «Экспорт». Мы экспортировали нефть, газ и лес. Но главным нашим экспортным товаром стала тьма. Тьма, упакованная в коробки с надписью «Традиционные ценности». И мы рассылали эту тьму по всему миру, от Пекина до Парижа, надеясь погасить свет везде, где он еще горел.

В дверь позвонили. Я не вздрогнула. Я ждала этого. Но звонок был не резким, требовательным, как у полиции, а коротким и неуверенным. Я подошла к глазку. На площадке стояла соседка, Мария Ивановна. Старушка, которая всегда кормила кошек у подъезда. Я открыла дверь.

— Леночка, — прошептала она, оглядываясь. — Ты прости меня, старую...

Она протянула мне сложенный листок бумаги.

— Что это? — спросила я.

— Приходили... эти, — она неопределенно махнула рукой в сторону лестницы. — Молодые, в костюмах. Спрашивали про тебя. Просили подписать бумагу. Что ты... ну, странная. Что к тебе ходят какие-то люди. Что ты против...

Она замолчала, теребя край фартука.

— И вы подписали? — тихо спросила я.

— Нет! — она вскинула на меня глаза, полные слез. — Как же я могла? Я же помню твою бабушку. Анну Петровну. Святая женщина была. Разве внучка такой женщины может быть врагом?

Она сунула мне листок в руку.

— Вот, они обронули копию. Я подобрала. Почитай. Там страшное написано, Леночка. Там написано, что ты... что ты не русская. Не в смысле крови, а в смысле... души.

Я развернула листок. Это был бланк опроса соседей. В графе «Характеристика» уже было впечатано: «Проявляет признаки асоциального поведения, склонна к критике государственной политики, возможно, находится под иностранным влиянием».

Но внизу, там, где должна была быть подпись Марии Ивановны, было пусто.

— Спасибо, — сказала я, сжимая ее сухую руку.

— Ты уезжай, дочка, — прошептала она. — Здесь теперь воздух такой... отравленный. Дышать нечем.

Она перекрестила меня и пошаркала к своей двери. Я закрыла замок. «Воздух отравленный». Она, простая пенсионерка, сформулировала то, что я пыталась описать в десятках страниц. Вирус ненависти был силен. Он заразил телевизор, он заразил кафедры, он заразил кабинеты. Но он не смог заразить Марию Ивановну. И это давало надежду. Слабую, как огонек свечи на ветру, но надежду.

Я вернулась к карте. Красные линии казались теперь не венами монстра, а трещинами на фасаде. Они строили глобальную империю страха, опираясь на Китай и запугивая Украину. Но они споткнулись о простую человеческую порядочность старушки с первого этажа. Система, построенная на расчеловечивании, всегда проигрывает Человеку. Рано или поздно.

Но пока битва только начиналась. И поле битвы было не в геополитике. Поле битвы было в сердце каждого, к кому приходили с предложением подписать донос. Я сняла карту со стены. Свернула ее в трубку. Мир был болен, но диагноз был поставлен. А правильный диагноз — это первый шаг к исцелению. Даже если лечение будет долгим и мучительным.

Завтра я поеду не в аэропорт. Я поеду туда, где последствия этой «геополитики» видны не на картах, а на лицах живых людей. Я поеду смотреть в глаза тем, кого эта машина уже переехала, но не сломала. Потому что именно там, среди руин судеб,

прячется настоящая правда о цене, которую мы платим за имперские галлюцинации господина Дворкина.

Глава 13: Цена молчания

Такси остановилось у типовой панельной многоэтажки в Бибирево. Район казался выцветшим, словно из него, как из старой фотографии, время вымыло все яркие краски. Серые стены, серый снег, серые лица прохожих, спешащих укрыться от пронизывающего ветра. Здесь не было пафоса центральных проспектов, здесь жила та самая «глубинная Россия», о которой так любили рассуждать политологи, но которую они никогда не видели вблизи.

Я поднялась на девятый этаж. Лифт скрипел и дергался, словно в предсмертной агонии. Дверь мне открыла женщина, в которой я с трудом угадала ту, чью фотографию видела в материалах дела час назад. На снимке была цветущая, уверенная в себе молодая мать. Передо мной стояла тень. Ольга (так я буду называть её, чтобы сохранить остатки её безопасности) постарела не на годы, а на эпохи. Её глаза были сухими и красными, как будто слезы в них закончились, оставив только воспаленную соль.

Мы прошли на кухню. На столе, покрытом клеенкой в мелкий цветочек, лежала стопка документов. Это была хроника уничтожения семьи. Не бомбами, не пожаром, а бумагой с гербовыми печатями.

— Тише, — шепнула Ольга, кивнув на закрытую дверь в соседнюю комнату. — Младшая только уснула. Она теперь боится любого стука. Думает, что снова пришли «дяди в черном».

Я приехала сюда не ради сенсации. Я приехала, чтобы увидеть то, что остается за кадром бравурных репортажей о «спасении детей от сектантов». Я хотела увидеть цену этого спасения. Ольга подвинула ко мне верхний документ. Это было решение суда об определении места жительства ребенка. Сухой юридический язык, за которым скрывалась трагедия античного масштаба.

— Всё началось не с веры, — тихо сказала она, глядя в окно, где сгустились сумерки. — Всё началось с развода. Мой бывший муж, Вадим, бизнесмен. У него связи, деньги, амбиции. Он сказал мне прямо: «Я заберу детей, а тебя уничтожу. Ты сгниешь в психушке».

Я знала эту схему. В ходе расследования я наткнулась на термин «коммерческое сектоведение». Это была услуга, которую РАЦИРС и аффилированные с ним структуры предоставляли богатым клиентам. Если вы хотите отобрать детей у бывшей супруги, но у вас нет законных оснований (она не пьет, не наркоманка, заботится о детях), вы звоните «сектоборцам».

— Он обвинил меня в том, что я состою в тоталитарной секте, — продолжила Ольга. — Знаете, какой? Компания сетевого маркетинга. Я продавала косметику и биодобавки. Обычный бизнес, тысячи женщин этим занимаются. Но для суда это стало приговором.

Я открыла папку с экспертизой. «Заключение специалиста». Подпись знакомая — один из членов экспертного совета при Минюсте, верный соратник Дворкина.

Текст документа был шедевром казуистики. Коммерческая компания именовалась «психокультом». Ежеутренние планерки назывались «ритуалами контроля сознания». Мотивационные тренинги — «нейролингвистическим программированием с целью подавления воли».

— Они применили методичку Дворкина к продаже шампуней, — сказала я, не веря своим глазам.

— Им всё равно, к чему её применять, — ответила Ольга без эмоций. — Главное — заказ. Вадим заплатил. К нам приехал адвокат из Москвы, Корелов. Я потом узнала, что он — правая рука Дворкина. Они превратили суд в инквизиционный трибунал.

История Ольги была калькой с громкого дела Елены Брессем, материалы по которому я изучила накануне. Сходство было пугающим, до мельчайших деталей.

В 2014 году в Перми разыгралась драма, ставшая прецедентом. Александр Брессем, владелец крупных дорожно-строительных компаний, решил отобрать детей у жены. Елена Брессем не была маргиналом. Она была обычной женщиной, которая, устав от семейного конфликта и решив начать жизнь заново, подала на развод. Но у Александра

был ресурс. И он нашел идеальное оружие. Он обратился в РАЦИРС. Я вспомнила статью, которую читала в архиве: «РАЦИРС по вызову». Это звучало как название службы эскорта, и по сути, так оно и было. Только эскорт был идеологическим.

Александр Дворкин, человек, позиционирующий себя как главный защитник православия, лично приехал в суд давать показания против Елены Брессем. Он никогда не встречал её раньше. Он не проводил с ней бесед. Но он уверенно заявил суду, что она — адепт тоталитарной секты «Гербалайф».

«Гербалайф».

В любой цивилизованной стране это вызвало бы смех. Но в России, где слово «секта» стало синонимом слова «терроризм», судья слушал Дворкина как пророка. Два тома уголовного дела были заполнены макулатурой — брошюрами Дворкина, материалами его конференций, распечатками с его сайта. Это называлось «доказательной базой».

— У Брессем забрали сына Костю, — сказала я. — Муж просто увез его и спрятал.

— У меня пытались забрать обоих, — Ольга сжала руки так, что побелели костяшки. — К нам в школу пришли. Не полиция. Опека. Но с ними была женщина из «Родительского комитета». Она тыкала директору в лицо какой-то бумажкой и кричала, что мои дети в опасности, что я хочу принести их в жертву.

Я представила эту сцену. Школьный коридор, перепуганные дети, шепчущиеся учителя. И эта кликуша, наделенная властью ломать судьбы.

— Дети стали изгоями, — голос Ольги дрогнул. — В родительском чате началась травля. Кто-то, я даже знаю кто — одна активная мамочка, начитавшаяся листовок в храме, — написала: «Рядом с нашими детьми учится выводок сектантов. Они заразные. Их надо изолировать».

«Заразные». Снова эта медицинская метафора. Дегуманизация работала безотказно. Вчерашние соседи, с которыми Ольга пила чай, теперь переходили на другую сторону улицы. Её дети возвращались из школы в синяках и плевках.

— Однажды ночью нам в окно бросили бутылку, — Ольга показала на стеклопакет. Рама была новой, но на подоконнике виднелись следы копоты. — С зажигательной

смесью. Это был первый этаж. Если бы я не проснулась от звона стекла... мы бы сгорели заживо.

— И полиция? — спросила я, хотя знала ответ.

— Полиция сказала: «Скажите спасибо, что живы. И вообще, дыма без огня не бывает. Может, вы сами себя подожгли, чтобы привлечь внимание? Сектанты же сумасшедшие».

Это была логика абсурда. Жертва виновата в том, что она жертва. Если тебя бьют — значит, ты спровоцировал. Если тебя травят — значит, ты «нетрадиционный».

Но самое страшное было в другом. В том, как система использовала детей как инструмент давления.

Ольга достала из папки еще один документ. Это было заключение психолога.

— Почитайте, — сказала она. — Это про мою дочь. Ей тогда было восемь лет.

Я начала читать. «Ребенок демонстрирует признаки психологической индукции... Замкнут, недоверчив... Рисунки в темных тонах свидетельствуют о деструктивном влиянии матери... Рекомендовано изъятие из семьи для проведения реабилитации».

Психолог не написал, что ребенок замкнут, потому что его травят в школе. Что рисунки темные, потому что в окно бросают коктейли Молотова. Нет. Причина была одна — «секта».

— Они хотели отправить её в реабилитационный центр, — сказала Ольга. — Я узнала, что это за центры. Это тюрьмы. Частные тюрьмы, которые курируют люди Дворкина.

Я знала об этих центрах. В отчетах международных правозащитников это называлось «депрограммированием». Но в российских реалиях это выглядело еще страшнее. Родственники, накачанные пропагандой о «зомбировании», платили огромные деньги — сотни тысяч рублей — за то, чтобы их близкого похитили. Крепкие парни скручивали человека, бросали в машину и увозили в загородный дом за высоким забором. Там не было телефонов, не было связи с внешним миром. Там были «православные психологи» и священники, аффилированные с РАЦИРС. Человека ломали. Его лишали сна, заставляли часами слушать лекции о вреде сект, молиться,

каяться. Любое сопротивление, любая попытка отстаивать свои права трактовалась как «симптом зависимости».

— Если ты кричишь «Отпустите меня!» — значит, бесы в тебе говорят, — горько усмехнулась Ольга. — Значит, надо усилить «терапию».

Это был бизнес на крови. И самое циничное, что этот бизнес крышевался государством. Похищение человека — тяжкое преступление. Но если похитители называют это «реабилитацией жертв тоталитарных сект», полиция закрывает глаза. «Это семейное дело, они спасают родственника».

Я вспомнила судебную статистику за 2017 год. Только дел о лишении родительских прав суды завершили около 48,7 тысячи — плюс были и дела об ограничении. Это десятки тысяч судебных историй, за каждой — ребёнок (а иногда несколько).

— А что с Еленой Брессем? — спросила я. — Вы знаете, чем закончилось её дело?

Ольга покачала головой.

— Она исчезла. Последнее, что я слышала — она год не видела сына. Муж увез его в неизвестном направлении. А Дворкин и его команда продолжали поливать её грязью в СМИ, называя сумасшедшей. Они сломали её.

Я посмотрела на пустую чашку на столе. В ней плавала чайинка, похожая на утонувшего жука.

Система работала безупречно. Она не просто наказывала инакомыслящих. Она разрушала саму ткань человеческих отношений. Она превращала мужей во врагов, детей — в заложников, соседей — в надзирателей.

— Знаете, что самое страшное? — вдруг спросила Ольга, глядя мне прямо в глаза. — Не суды. И даже не бутылка с бензином. Самое страшное — это тишина.

Она встала и подошла к окну.

— Когда к нам ломилась опека, я кричала. Я звала на помощь. У нас тонкие стены. Соседи всё слышали. Слышали, как плачет дочь. Слышали, как мне угрожают выломать дверь. Но никто не вышел. Никто не вызвал полицию.

Она повернулась ко мне.

— Я потом спросила соседку, бабу Машу: «Почему вы не вышли?». А она ответила: «Так по телевизору сказали, что вы сектанты. А сектанты детей в жертву приносят. Вот мы и думали, что опека вас спасает».

Телевизор победил реальность. Пропаганда, которую я анализировала в прошлой главе, дала свои плоды. Люди перестали верить своим ушам и глазам. Они верили «экспертам» из ящика. Если эксперт сказал, что эта плачущая женщина — монстр, значит, так оно и есть. Значит, её слезы — это манипуляция. Значит, её мольбы о помощи — это гипноз. Индустрия расчеловечивания достигла своей цели. Она отключила эмпатию. Я встала, собираясь уходить. Мне было физически тяжело находиться в этой квартире.

— Подождите, — Ольга метнулась в комнату и вернулась с детским рисунком.

На листе бумаги был нарисован дом. Черный, кривой дом с заколоченными окнами. А вокруг дома стояли люди. Много людей. У них не было лиц, только черные овалы. И у каждого в руках был камень.

— Это нарисовала моя дочь после того, как в школе её одноклассники закидали камнями, — сказала Ольга. — Ей восемь лет. Она спросила меня: «Мама, почему они нас ненавидят? Мы же ничего плохого не сделали».

Что я могла ответить? Что ненависть — это валюта, на которой держится карьера господина Дворкина? Что её слезы оплачивают гранты РАЦИРС? Что её разрушенное детство — это необходимая жертва для «духовной безопасности» страны?

Я взяла рисунок. Бумага была шершавой, дешевой.

— Я возьму это, — сказала я. — Как доказательство.

— Доказательство чего? — устало спросила Ольга. — Бога нет, Лена. В этом городе Бога нет. Его выгнали вместе с нами.

Я вышла в подъезд. Спускаться в лифте не хотелось, мне нужно было движение, нужно было чувствовать свои ноги. Я бежала по лестнице вниз, перепрыгивая через ступеньки. На первом этаже, у почтовых ящиков, валялись рекламные листовки. «Компьютерный мастер», «Суши», «Помощь наркозависимым и пострадавшим от сект. Православный центр». Я сорвала объявление. Под ним остался грязный след от клея.

На улице было темно. Ветер швырял в лицо колючий снег. Я шла к метро, и мне казалось, что за каждым окном, в каждом теплом, уютном квадрате света, может скрываться такая же трагедия. Мы привыкли думать о репрессиях как о «черных воронках» и лагерях. Но современные репрессии выглядят иначе. Они приходят в виде судебного пристава, описывающего детские игрушки. В виде психолога, задающего ребенку наводящие вопросы: «А мама заставляет тебя молиться?». В виде адвоката, который за деньги докажет, что любовь — это зависимость, а забота — это контроль. Я вспомнила фразу: «Дети сектантов — это товар». Их продают. Их продают отцы, желающие отомстить женам. Их продают чиновники, которым нужна статистика по «выявлению неблагополучия». Их продают «эксперты», строящие на этом карьеру.

В кармане вибрировал телефон. Я достала его. На экране светилось сообщение от Кирилла.

«Они забрали Сашу. Час назад. Увезли в центр».

Саша. Сын Кирилла. Мальчик, который любил собирать Лего и мечтал стать архитектором.

Я остановилась посреди тротуара. Люди обтекали меня, как река обтекает камень. Никто не смотрел мне в глаза. Все спешили домой, в свои крепости, уверенные, что с ними этого не случится. Ведь они — нормальные. Они — традиционные.

Но они ошибались. В мире, где закон заменен «экспертным мнением» религиоведа-самоучки, никто не может быть в безопасности. Сегодня ты «традиционный», а завтра твой бизнес приглянулся кому-то, или твоя жена захотела развода, или ты просто не так посмотрел на священника. И вот уже к тебе едет адвокат Корелов, а Дворкин пишет статью о том, что твои хобби — это признак латентного сатанизма.

Я посмотрела на детский рисунок в своей руке. Черные люди без лиц с камнями. Это был портрет нашего общества. Общества, которое согласилось на сделку: мы отдаем вам «сектантов» на растерзание, а вы не трогаете нас. Но дьявол, как известно, никогда не соблюдает условий сделки. Я свернула рисунок и спрятала его во внутренний карман, ближе к сердцу. Там, где уже лежала флешка с архивами.

Я пошла к метро, и стук моих каблуков по мерзлому асфальту звучал как отсчет времени. Тик-так. Тик-так. Сколько еще детей проснется сегодня ночью от звона

разбитого стекла? Сколько матерей будут выть в подушку, глядя на пустую кровать? Цена молчания была слишком высока. И мы все уже были банкротами.

Глава 14: Пустой престол

Москва встретила меня тем же серым, низким небом, что и в день прилета, но теперь этот цвет казался мне не оттенком погоды, а цветом времени. Я стояла на Остоженке, перед коваными воротами Зачатьевского монастыря. Двадцать пять лет назад здесь были руины. Кирпичная кладка, изъеденная дождями, провалы окон, запах сырости и таинства. Мы с бабушкой пробирались сюда через строительный мусор, словно первые христиане в катакомбы, чтобы поставить свечу перед потемневшим ликом Спасителя.

Тогда, в девяностые, Бог жил в этих руинах. Он был осязаем. Он был в дрожащих руках старух, отдававших последние копейки на восстановление стен. Он был в глазах молодых священников, которые служили в неотапливаемых приделах, выдыхая пар вместе с молитвой. Это была Церковь выживших, Церковь воскресающая, где каждый пришедший был чудом.

Теперь передо мной возвышался величественный собор. Золото куполов слепило глаза даже в пасмурный день. Идеальная штукатурка, мраморные ступени, охрана в черных бушлатах с рациями у входа. «Евроремонт» духа был завершен.

Я прошла через рамку металлоискателя. Она пискнула, и охранник лениво, но цепко осмотрел мою сумку. В девяностые здесь искали Бога. Теперь здесь искали взрывчатку и экстремистскую литературу.

Внутри пахло не тем теплым, живым воском, который я помнила с детства, а дорогим парфюмом, ладаном «премиум-класса» и химической свежестью моющих средств. Пол блестел так, что в нем отражались горящие паникадила. Хор пел безупречно, профессионально, оперно. Но в этом совершенстве звука была какая-то пугающая стерильность. Это была не молитва, а концерт духовной музыки для состоятельных господ. Я купила свечу. Ценник был напечатан на лазерном принтере, с

штрих-кодом. «Рекомендованное пожертвование». Сумма, указанная на ценнике, могла бы накормить семью Ольги из Бибирево на пару дней.

Я подошла к иконе. Той самой, перед которой мы стояли с бабушкой? Нет, той больше не было. Вместо нее в золоченом киоте сияла новая, написанная яркими акриловыми красками икона. Началась проповедь. На амвон вышел настоятель. Дородный, уверенный в себе мужчина с крестом, усыпанным камнями. Я приготовилась услышать слова из Евангелия. О блудном сыне, о милосердном самарянине, о любви, которая «долготерпит и не мыслит зла».

— Братья и сестры! — голос священника, усиленный мощной акустической системой, раскатился под сводами. — Мы живем в страшное время. Время, когда враг рода человеческого ополчился на Святую Русь. Со всех сторон нас окружают лжепророки, сектанты, агенты чуждого влияния, стремящиеся размыть наш культурный код!

Я закрыла глаза. Это было дежавю. Те же слова, что и в брошюрах Дворкина, что и в репортажах федеральных каналов. Только теперь они звучали с амвона, в сакральном пространстве литургии.

— Мы должны быть бдительны! — гремел настоятель. — Нельзя допускать духовной расслабленности. Толерантность — это грех попустительства злу. Мы должны выжигать заразу ереси каленым железом, ибо сказано: не мир Я принес, но меч!

Он цитировал Христа, но вырывал слова из контекста с хирургической точностью пропагандиста. Меч Духа, меч Истины, он превращал в административную дубинку.

Я смотрела на лица прихожан. Женщины в дорогих платках, мужчины в костюмах, бабушки в потертых пальто. Они слушали, затаив дыхание. В их глазах не было света преображения. В них был страх. И мрачная решимость. Им только что выдали индульгенцию на ненависть. Им объяснили, что спасение души заключается не в борьбе со своими грехами, а в поиске внешних врагов.

«Православие Любви», о котором говорила бабушка, оказалось слишком сложным, слишком неудобным для институции, стремящейся к власти и комфорту. Любовь уязвима. Любовь требует жертвы. Любовь не дает гарантий безопасности. А главное — Любовь нельзя контролировать.

«Православие Страха», предложенное Дворкиным и его кураторами, было идеальным продуктом. Оно предлагало простую картину мира: мы — хорошие, они — плохие. Оно давало чувство превосходства. Оно заменяло сложную внутреннюю работу покаяния на понятную внешнюю деятельность: пиши доносы, срывай листовки конкурентов, ненавидь «нетрадиционных».

Я вышла из храма, не дождавшись конца службы. Воздух внутри стал слишком спертым, несмотря на современную систему вентиляции. На улице, у церковной лавки, я увидела объявление. «Лекторий. Тема: “Духовная безопасность в эпоху гибридных войн”. Лектор: сотрудник Центра религиоведческих исследований».

Рядом стояла урна для пожертвований с надписью: «На нужды миссионерского отдела». Я знала, на что пойдут эти деньги. На бумагу для исков, на оплату «экспертиз», на бензин для машин, в которых едут люди с папками компромата.

Я села на скамейку в сквере напротив храма. Мимо проходили люди, спешащие по своим делам. Москва жила своей жизнью, равнодушная к тому, что происходило за золотыми воротами. Я достала блокнот. Мне нужно было сформулировать итог. Не журналистский, а философский.

Почему «сектоведение» победило богословие? Потому что оно по своей сути глубоко атеистично.

Это был парадокс, который я нащупала еще в главе о психиатрии, но теперь он раскрылся передо мной во всей полноте. Идеология «антикультизма» строится на неверии в силу Божию.

Если послушать Дворкина, то получается, что дьявол (в лице «сектантов», «психокультистов», «гуру») всемогущ. Он обладает технологиями «зомбирования», против которых человек бессилен. Достаточно выпить чаю с кришнаитами или послушать проповедь пятидесятника — и всё, ты раб. Твоя воля парализована, твой разум отключен. А где же Бог? Где благодать? Где Ангел-Хранитель? Где таинство Крещения, которое, по учению Церкви, защищает человека? Получается, что «психотехника» сильнее благодати.

Это материализм в рясе. Они верят в технологии, в манипуляции, в административный ресурс, в полицию, в прокуратуру. Им нужен «Великий Инквизитор», потому что они боятся свободы, которую принес Христос.

Я вспомнила легенду о Великом Инквизиторе из «Братьев Карамазовых». Иван Карамазов описывает Христа, вернувшегося в средневековую Испанию. Инквизитор арестовывает Его и говорит: «Зачем Ты пришел нам мешать?». Сегодня эта сцена разыгрывалась не в литературе, а в реальности.

Если бы Христос пришел сейчас в этот храм на Остоженке, Его бы не пустили дальше охраны.

— Ваш пропуск? — спросил бы охранник. — Вы не по форме одеты. И вообще, вы подозрительно выглядите.

А если бы Он все-таки прошел и начал говорить? Что бы Он сказал? «Любите врагов ваших»? «Блаженны изгнанные за правду»? «Не собирайте себе сокровищ на земле»? Его бы тут же прервал настоятель. Или дежурный миссионер с методичкой РАЦИРС.

— Гражданин, вы используете методы психологического воздействия! Вы вербуете людей в деструктивный культ! У вас нет лицензии на проповедь! Вы нарушаете закон Яровой!

Его бы вывели под руки. И на следующий день на сайте Дворкина появилась бы статья: «В Москве задержан лидер опасной тоталитарной секты. Называет себя Сыном Божиим. Типичный признак гуруизма и мании величия. Использует гипноз (исцеления) и бесплатную раздачу еды (хлеба и рыбы) для вовлечения социально незащищенных слоев населения». Эксперты провели бы анализ Его проповедей.

«Нагорная проповедь содержит признаки экстремизма. Призывы к отказу от традиционных семейных ценностей (“кто не возненавидит отца и матери...”). Формирование негативного образа социальной группы “фарисеи и книжники”. Угроза государственному строю (“Царство Мое не от мира сего”»).

Я усмехнулась, но улыбка вышла горькой. Это не было преувеличением. Методология, которую я изучила за эти недели, работала именно так. Она была универсальной мясорубкой, способной перемолоть в фарш «экстремизма» само Евангелие. Агнец был изгнан.

Его место на престоле занял Инквизитор. Не мрачный старик в сутане, а коллективный бюрократ. Эффективный менеджер духовности. Человек с папкой, в

которой лежат инструкции по выявлению врагов. Я посмотрела на купола. Они сияли, отражая скудное московское солнце. Но под этим золотом была пустота. Пустой престол. Бог ушел. Он ушел туда, где Его еще ждут.

А здесь, в центре империи, осталась только оболочка. Декорация. Музей православия, в котором экскурсоводы с погонами под рясами рассказывают о величии прошлого, тщательно скрывая отсутствие настоящего. Ко мне подседа женщина. Обычная московская пенсионерка, с сумкой на колесиках. Она достала из кармана просфору и начала крошить ее голубям.

— Хорошо здесь, — сказала она, ни к кому не обращаясь. — Красиво сделали. Чисто.

— А раньше лучше было? — спросила я. — В девяностые?

Она задумалась, стряхивая крошки с перчатки.

— Раньше... Раньше страшнее было. Разруха. Но дышалось легче. Мы тогда все как родные были. А сейчас... — она понизила голос, оглянувшись на охранника у ворот. — Сейчас строго стало. Батюшка все про врагов да про врагов. А я вот думаю: какие у меня враги? Соседка Танька, что ли? Или внук мой, который рэп слушает?

Она вздохнула.

— Я ведь, дочка, сюда прихожу не батюшку слушать. Я к иконе прихожу. К Богородице. Ей все равно, кто там у нас враг. Она всех жалеет.

В ее словах я услышала отголосок той самой «веры бабушек», на которой держалась Церковь в годы советских гонений. Эта вера была неистребима. Она жила не благодаря системе, а вопреки ей. Как трава пробивается сквозь асфальт. Система Дворкина могла захватить кабинеты, кафедры и телеэфиры. Она могла переписать учебники и запугать епископов. Но она не могла полностью вытравить из сердец этих простых женщин память о том, что Бог есть Любовь. И это была главная угроза для «пустого престола». Пока хоть одна такая старушка крошит просфору голубям и не верит в то, что ее внук — агент Госдепа, тоталитарная конструкция не может быть абсолютной. Но битва была неравной.

Я встала. Мне нужно было уходить. Я собрала все факты, все документы, все свидетельства. Мой чемодан был полон доказательств. Но я понимала, что не смогу

изменить эту систему. Она слишком огромна, слишком богата, слишком тесно срослась с государством. Моя победа была в другом. В том, что я не позволила им обмануть себя. Я назвала вещи своими именами.

Я прошла мимо церковной лавки. Там, на витрине, среди икон и крестиков, лежала книга. «Сектоведение». Глянцевая обложка, знакомая фамилия автора. Она лежала на самом видном месте, как главное священное писание новой эпохи. Я не стала ее трогать. Я просто посмотрела на нее как на улику. Как на вещественное доказательство на месте преступления. Преступления, в котором жертвой был не человек, а сама Истина.

Я вышла за ворота. Остоженка гудела машинами. Мимо проносились черные седаны с мигалками, дорогие иномарки, такси. Город денег и власти. Я обернулась в последний раз. Храм стоял, как крепость. Золотые шлемы куполов, каменные стены. Непрístupный. Холодный. Чужой.

В кармане зазвонил телефон. Это был Кирилл.

— Лена, ты где? — его голос был напряженным. — Мне сказали, что тобой интересуются. Seriously интересуются. Тебе нельзя оставаться в квартире на Соколе.

— Я знаю, — ответила я. — Я уже ухожу.

— Куда?

— Туда, где нет стен, — сказала я, глядя на серое небо. — Я уезжаю, Кирилл.

— Они не выпустят тебя с материалами, — предупредил он. — В аэропортах усиленный контроль.

— Материалы — это просто цифры, — сказала я. — Главное я уже поняла. И это у меня не отнять.

Я повесила трубку.

Ветер усилился, бросая в лицо колючую снежную крупу. Я подняла воротник пальто. Пустой престол остался за спиной. Но пустота — это не только отсутствие. Это еще и возможность. Возможность для тех, кто не согласен поклоняться идолам страха, построить свой храм. Не из камня и золота, а из поступков и правды. Храм, в который не нужен пропуск.

Я пошла к метро «Кропоткинская». В переходе играл скрипач. Он играл что-то грустное, щемящее. Баха? Или Вивальди? Люди проходили мимо, бросая мелочь в открытый футляр. Я остановилась. Скрипач был стар, одет бедно, но чисто. Его лицо было спокойным и светлым. Он играл не для денег. Он играл, потому что музыка переполняла его. Я достала из кошелька купюру и положила в футляр. Скрипач кивнул мне, не прерывая мелодии. В этот момент я поняла, что Агнец не изгнан окончательно. Он просто ушел в подполье. Он стал музыкой в переходе, слезами матери в Бибирево, рукой старушки с голубями. Он растворился в мире, чтобы не быть пойманным в золотую клетку. И пока Он здесь, в этой музыке, в этом снеге, в этом городе еще есть надежда. Но мне здесь места больше не было. Я стала свидетелем, который слишком много знал. А свидетелей в империи Инквизитора не любят.

Я спустилась в метро. Поезд с грохотом вылетел из туннеля, обдав меня ветром. Я вошла в вагон, и двери захлопнулись, отрезая меня от прошлого. Впереди был только один путь. Путь на Запад, домой, в изгнание. Но теперь это было не бегство. Это была миссия. Я должна была сохранить голос Агнца, чтобы однажды, когда стены рухнут (а они всегда рушатся), вернуть его обратно.

Поезд набирал скорость, унося меня прочь от пустого престола, в темноту туннеля, в конце которого, я знала, обязательно будет свет. Не электрический, не неоновый, а настоящий. Тот самый, который светил в руинах моего детства и который я, наконец, нашла снова. Внутри себя.

Глава 15: Рейс в один конец

Такси ползло по Ленинградскому шоссе, продираясь сквозь вязкую, серую кашу из мокрого снега и реагентов. Дворники на лобовом стекле работали с монотонным, гипнотическим ритмом, словно метроном, отсчитывающий последние минуты моего пребывания в этой реальности. За окном проплывали гигантские торговые центры, похожие на космические корабли, приземлившиеся в грязь, и бесконечные ряды человечников, в окнах которых горел одинаковый, мертвенно-бледный свет.

Я уезжала. В моем чемодане было немного вещей: пара свитеров, книги, старая икона бабушки, завернутая в шерстяной платок, и жесткий диск. Тот самый, на который я скопировала архивы, собранные за эти недели. Терабайты лжи, ненависти и сломанных судеб. Я везла с собой не сувениры, а анатомический атлас болезни, поразившей мою родину. Но самый важный груз я несла не в багаже. Я несла его внутри, в том пространстве между ребрами, где раньше жила ностальгия по детству, а теперь поселилась холодная, звенящая пустота.

Водитель, пожилой мужчина с усталым лицом, молчал всю дорогу. Только радио тихо бормотало новости. Диктор бодрым голосом рассказывал о новых успехах, о врагах, которые «скрежещут зубами», о духовном возрождении. Я слушала этот фон и понимала: это больше не новости. Это заклинания. Шаманский речитатив, призванный удерживать миллионы людей в состоянии транса. Мы подъехали к терминалу Шереметьево. Здание аэропорта нависало над нами, сверкая стеклом и сталью, как гигантский портал в другой мир. Здесь, на границе, воздух был другим. Он пах керосином — запахом разлуки и свободы.

Я расплатилась с таксистом. Он посмотрел на меня с неожиданным сочувствием.

— Улетаете? — спросил он. — Насовсем?

— Не знаю, — соврала я.

— Правильно, — вздохнул он. — Если есть куда — надо ехать. Здесь скоро дышать нечем будет. Кислород перекрывают.

Он не знал про РАЦИРС, про Дворкина, про «сектоведение». Он просто чувствовал. Животным чутьем человека, привыкшего выживать, он ощущал, как сгущается атмосфера, как пространство становится тесным, как слова теряют смысл, превращаясь в дубинки.

Я вошла в здание терминала. Шум, суeta, объявления по громкой связи. Обычная жизнь глобального хаба. Но для меня каждый шаг к стойке регистрации был преодолением минного поля. Паранойя, ставшая моей второй натурой за последние дни, шептала: «Они знают. Они ждут». Я всматривалась в лица полицейских, патрулирующих зал. В людей в штатском, скупающих у колонн. Мне казалось, что сейчас ко мне подойдут, вежливо возьмут под локоть и скажут: «Елена, пройдемте. У нас есть вопросы к вашему багажу. Вы вывозите экстремистские материалы».

Но никто не подходил. Система, которую я так боялась, была громоздкой и неповоротливой. Она умела давить танками, но часто пропускала одиночных перебежчиков. Или, может быть, она просто выдавливала меня, как инородное тело? Ей не нужно было меня сажать. Ей нужно было, чтобы я исчезла. Чтобы я перестала быть свидетелем.

Я прошла регистрацию. Получила посадочный талон. Место 14А. У окна. Впереди был паспортный контроль. Последний рубеж. Я встала в очередь. Передо мной стояла молодая семья с маленьким ребенком. Девочка капризничала, роняла плюшевого медведя. Отец нервно одергивал ее. Мать смотрела в одну точку отсутствующим взглядом. Они тоже бежали. Я видела это по их напряженным спинам, по тому, как они сжимали ручки чемоданов. Это был не отпуск. Это была эвакуация.

Подошла моя очередь. Я подошла к стеклянной будке. Пограничник, молодой парень с безучастным лицом, взял мой паспорт.

— Цель поездки?

— Возвращение к месту постоянного проживания.

Он поднял глаза. Взгляд был цепким, профессиональным, но пустым. Он сверял мое лицо с фотографией. Потом начал листать страницы. Долго, слишком долго. Он что-то печатал на клавиатуре. Сердце стучало где-то в горле. Я чувствовала, как флешка, зашитая в подкладку пальто, жжет кожу. На ней были доказательства того, что этот парень в форме — не просто служащий, а винтик в машине, которая перемалывает его сограждан. Знал ли он об этом? Вряд ли. Он просто делал свою работу.

— Снимите очки, пожалуйста.

Я сняла. Он посмотрел мне в глаза. На секунду мне показалось, что он видит всё: мой страх, мою ненависть, мой архив. Стук печати прозвучал как выстрел.

— Проходите. Счастливого пути.

Я забрала паспорт. Руки дрожали, и я сжала их в кулаки, чтобы скрыть эту дрожь. Я прошла через турникет. Всё. Я была в нейтральной зоне. Юридически я все еще была в России, но фактически я уже была нигде. В лимбе.

Я пошла в сторону гейта, проходя мимо витрин Duty Free, сверкающих золотом, алкоголем и парфюмерией. Этот глянцевый мир казался декорацией, натянутой поверх

руин. Здесь продавали иллюзию нормальности. «Купите духи, выпейте коньяка, забудьте о том, что осталось за спиной». Я села в кафе у панорамного окна. За стеклом, в синих сумерках, двигались самолеты, похожие на гигантских китов. Снег усилился, превращая летное поле в белую пустыню.

Я достала телефон. Сим-карту я выбросила еще в такси. Теперь я была вне зоны доступа. Ни Кирилл, ни Ольга, ни отец Андрей не могли мне позвонить. Я оставила их там, в темноте. И от этого чувства вины было не спрятаться.

Я предатель? Этот вопрос мучил меня. Я уезжала в свой уютный Сан-Франциско, к океану, к свободной прессе, к латте на миндальном молоке. А они оставались. Ольга оставалась в своей панельке в Бибирево, вздрагивая от каждого стука в дверь. Кирилл оставался искать сына по реабилитационным центрам. Александр Сизиков оставался в своей слепой тюрьме.

Я спасала себя. И я спасала правду. Я открыла блокнот и написала: *«Свидетель не имеет права умирать. Свидетель обязан говорить»*. Это было моим оправданием. Если я останусь, меня просто заставят замолчать. Меня объявят сумасшедшей, как они это умеют. Меня сломают, заставят подписать признание в работе на иностранные разведки. И тогда мой архив исчезнет, растворится в небытии. Я должна вывезти этот голос. Голос Агнца, которого изгнали.

Я смотрела на людей в зале ожидания. Кто они? Бизнесмены? Туристы? Эмигранты? На соседнем кресле сидел мужчина лет пятидесяти, интеллигентного вида, в очках с тонкой оправой. Он читал книгу. Я присмотрелась к обложке. Это был Бердяев. «Философия свободы». Он поймал мой взгляд и грустно улыбнулся.

— Актуальное чтение, — сказал он тихо. — Особенно когда летишь в один конец.

— Вы тоже? — спросила я.

— Тоже. — Он закрыл книгу.

— Знаете, я преподавал историю тридцать лет. А вчера мне сказали, что моя трактовка событий не соответствует «текущему моменту». И предложили уволиться по собственному. Или ждать проверки на экстремизм.

Он помолчал, глядя на снег за окном.

— Мы повторяем цикл. «Философский пароход» столетней давности. Только теперь это «Философский Боинг». Интеллект, совесть, вера — всё это объявляется лишним. Опасным. Стране не нужны сложные люди. Ей нужны простые, понятные, управляемые. Как в методичках того господина, о котором вы, кажется, писали?

Я вздрогнула.

— Откуда вы знаете? — Я читал ваши статьи. Еще те, старые. У вас узнаваемый стиль. — Он посмотрел на меня внимательно. — Вы везете с собой что-то важное, Елена. Я вижу это по вашим глазам. Вы не просто бежите. Вы эвакуируете смыслы.

— Я везу доказательства того, что Бога подменили, — сказала я. — Что вместо Него поставили идола.

— Идолы падают, — ответил он. — История учит только этому. Идолы всегда падают, когда заканчивается кровь, которой их кормят. А Агнец... Агнец выживает. Потому что Он не требует крови. Он отдает свою.

Объявили посадку. Мы встали. Мужчина протянул мне руку.

— Берегите себя. И берегите то, что везете. Там, — он кивнул в сторону летного поля, — на Западе, это тоже нужно. Они ведь тоже забывают. Они думают, что свобода — это данность. А свобода — это ежедневное усилие по выдавливанию из себя раба. И инквизитора.

Я шла по телетрапу, и каждый шаг отдавался гулким эхом. Труба, соединяющая терминал с самолетом, была похожа на пуповину, которую сейчас перережут. Я вошла в салон. Стюардессы улыбались дежурными улыбками. «Добро пожаловать на борт». Я села на свое место у окна. Пристегнула ремень. Самолет начал руление. Мы долго ехали по лабиринту рулежных дорожек, мимо заснеженных елей, мимо стоящих на приколе лайнеров. Двигатели взревели. Самолет задрожал, напрягся, словно зверь перед прыжком, и рванул вперед. Меня вдавило в кресло. Скорость росла, размывая огни взлетной полосы в сплошные линии. Отрыв. Земля качнулась и пошла вниз. Я прижалась лбом к холодному иллюминатору.

Внизу лежала Москва. Огромный, светящийся спрут. Миллиарды огней. Садовое кольцо, проспекты, набережные. С высоты это было завораживающе красиво. С высоты не было видно грязи, не было видно автозаков, не было видно заколоченных окон души.

Где-то там, в этом море огней, осталась квартира бабушки с запахом корвалола и стопкой брошюр Дворкина на тумбочке. Остался храм на Остоженке с пустым престолом. Остался Кропоткинский переулок с институтом Сербского. Я смотрела на этот город, который я любила и который меня отверг. И я плакала. Слезы текли по щекам, и я не вытирала их. Это были слезы не жалости, а прощания.

Я прощалась с иллюзией. Двадцать пять лет я жила мифом о «тихой гавани», о «Святой Руси», о бабушкиных сказках. Я приехала, чтобы найти этот миф, а нашла тоталитарную секту размером с государство. Но в этом крушении иллюзий была и победа. Я нашла правду. Она была горькой, страшной, но она была настоящей.

Я поняла, что «антикультовая» истерия — это не защита веры. Это страх перед ней. Система боится живого религиозного чувства, потому что оно делает человека свободным. Человек, который боится Бога, не боится начальника. Человек, который служит Истине, не будет служить идеологии. Поэтому они создали суррогат. «Православие Страха». Религию, в которой нет мистики, но есть политинформация. Нет таинства, но есть досье.

Самолет пробил слой облаков. Серая пелена осталась внизу, и салон залило ослепительным солнечным светом. Здесь, на высоте десяти тысяч метров, всегда было солнце. Оно никуда не исчезало, просто его закрывали тучи лжи. Я достала из сумки жесткий диск. Маленькая черная коробочка. В ней — имена палачей и имена жертв. В ней — схемы финансирования, сканы доносов, видеозаписи погромов. Это был мой ковчег. Я не смогла остановить потоп. Но я сохранила семена.

Я вспомнила слова Кирилла: «Бог поругаем не бывает». Они могут захватить здания, могут переписать каноны, могут надеть на Христа камуфляж. Но они не могут убить Его суть. Агнец ушел в изгнание. Я закрыла глаза. Впереди было одиннадцать часов полета. Одиннадцать часов тишины, чтобы собрать себя заново.

Я знала, что буду делать. Я напишу эту книгу. Я расскажу миру не о политике, а о подмене. О том, как под видом борьбы с сектами была создана самая страшная секта в истории. О том, как психологическое насилие стало государственной скрепой. Это будет мой свидетельский показания на суде истории. Суд этот будет не скоро, но он будет. И когда он начнется, мои файлы лягут на стол обвинения.

А пока... Я посмотрела на облака под крылом. Они были похожи на бескрайнее снежное поле. Чистое, нетронутое.

— Прощай, — прошептала я одними губами. — И прости.

Самолет взял курс на Запад. Рейс в один конец завершился началом нового пути. Я увозила с собой боль, но я оставляла страх. Он остался там, внизу, в слякоти и мраке. А я была свободна. И в этой свободе, звенящей и прозрачной, я наконец-то услышала тот самый голос, который искала все эти дни. Тихий голос, заглушенный мегафонами пропаганды.

«Не бойтесь, — говорил Он».

Я откинулась на спинку кресла. Впервые за две недели я могла спать спокойно. Моя война закончилась. Начиналась работа памяти.